



Бывае́т...

м  
ю а  
р м  
и л  
й е  
е  
в



Боле́е низкого обг

Юрий Мамлеев

**Бывает...**

«ЭННЕАГОН ПРЕСС»

**Мамлеев Ю. В.**

Бывает... / Ю. В. Мамлеев — «ЭННЕАГОН ПРЕСС»,

ISBN 978-5-91051-029-0

В книге «Бывает...» собраны эссе «Бобок», 35 рассказов и 2 пьесы писателя Ю. В. Мамлеева. Большая часть рассказов и обе пьесы ранее не публиковались. К некоторым рассказам автор для этой книги написал разъяснения. Иллюстраций в привычном понимании в книге нет. Графика в ней только выявляет впечатление художника от сплетения писателем внешних и внутренних состояний. То есть параллельный тексту изобразительный ряд, передающий ритм, темп, предчувствия, флюиды, фантомы повествования.

ISBN 978-5-91051-029-0

© Мамлеев Ю. В.  
© ЭННЕАГОН ПРЕСС

## Содержание

«Бобок» Ф. М. Достоевского1	5
О Достоевском	10
Вступление	12
Бывает...	13
Приход	15
Утопи мою голову	20
Валюта	29
Доигрались	36
Жизнь есть сон	38
Мудрость мира	44
Восьмой этаж	61
Великий человек	67
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# Юрий Мамлеев

## Бывает...

### «Бобок» Ф. М. Достоевского<sup>1</sup>

Вероятно, где-то в XIX веке, после всех побед «разума» над химерами, и в мировой литературе, и в русской в том числе, обнаружилось любопытное явление. Известно, что художественная литература обладает очень острой и быстрой реакцией на изменения в сознании людей, которых она описывает; эти изменения, как правило, уже только потом отмечаются историками и социологами. Так вот обнаружилось, что из человеческой жизни, во всяком случае из огромной ее сферы, постепенно стала уходить душа. Эта пропажа, пожалуй, была еще более знаменательна, чем, скажем, пропажа носа (вспомним гоголевский «Нос»). Речь идет о том, что интересы человека стали настолько ничтожны, настолько назойливо стали вращаться вокруг одних мелких материальных интересов, и даже псевдоматериальных, что за человеком не стало видно души; душа пропала; осталась одна оболочка. Образ и подобие Божие (вместе с другими химерами) развеялись; один за другим потянулись мертвые души; как грибы появились в мировой литературе изображения маленького человека; даже скука стала предметом литературы; «скучно на этом свете, господа», – повторяли многие; возникали стыдливые теории, что достаточно маленького человека приласкать, пригреть или вообще улучшить его положение, как вся проблема будет решена; забывали, что речь идет не о маленьком (социально) человеке, а о среднем человеке вообще, о новом типе сознания, да и герои Гоголя (а тем более герои-буржуа западной литературы) отнюдь не были последними (социально) людьми. Скорее, наоборот. Этот новый человек заполнил как жизнь, так и литературу. Даже Гегель обратил внимание на существование, особенно в маленьких провинциальных немецких городках, огромного количества людей такого типа, причем его почему-то поразили старухи, чье существование сводилось к патологически ничтожным интересам. Конечно, Гегель разрешал все это довольно просто: с его точки зрения, эти существования были лишь видимости, не имеющие, несмотря на то, что «видимость» носила человеческую форму, никакого отношения к реальности, то есть к становлению абсолютного Духа.

Более неприятна оценка такой пропажи души была для христиан, поскольку предполагалось наличие таковой у каждого человека, тем более христианина. А ведь эти существа не только пили, ели, копили деньги, зевали, работали, но и ходили в церковь, приобщаясь к Таинствам. Гоголя такие видения просто пугали, и, может быть, поэтому он считал художественное зрение такого рода преступлением; они, вероятно, встревожили его тем, что как бы внутри самого христианского мира вырастает жизнь иная; жизнь монстров, жизнь, далекая не только от всякого намека на религиозный образ, но просто быстро теряющая черты всякого человекоподобия (в обычном смысле этого слова). Тем более, что это нечеловекоподобие могло оформиться в интеллектуальные одежды, заговорить языком теорий, утопий, планов...

У Достоевского была более счастливая судьба: средний человек или новый монстр интересовал его значительно меньше; весь центр для него был перемещен в духовную сферу, в описание необычных людей и необычных ситуаций. Однако и Достоевский наблюдал его. Правда, он видел в человеке не только пробуждающегося нового монстра, но и его полярность: малых сих, но людей чистых и добрых... И, как всегда, Достоевский стремился довести все до конца; его, вероятно, мучил вопрос, что может ожидать всех этих далеких от духовной жизни, в реальном смысле этого слова, людей на том свете; и у него, вероятно, проскальзывали сомнения;

---

<sup>1</sup> Перепечатано из «Русской мысли» от 30 августа 1979 г.

например, в Легенде о Великом Инквизиторе говорится, что если и есть что-то на том свете, то только не для них... Между тем, по мере движения истории, чистых и добрых людей (хотя и малых сих) становилось все меньше и меньше; значительно больше понесло экземпляров другого вида малых сих: не «плохих» и не «хороших», но зато уже заведомо ничтожных, даже до потусторонности; часто и «плохих», с зародышем некоей монстрозности... Одним словом, известные всем герои реальной литературы... Здесь строить даже негативные предположения о высших мирах было бы чересчур и для самой парадоксальной фантазии; и Достоевский отделился одним любопытным рассказом «Бобок». Его содержание сводится к тому, что герой рассказа, алкоголик и неврастеник, оказывается на кладбище (около кладбища – ресторанчик!), где ему вдруг начинают слышаться голоса умерших (кладбище не очень упорядочено, и даже на могилке герой находит кусок бутерброда); этот разговор и составляет содержание рассказа – оказывается, что сознание не сразу покидает труп и некоторое время (два месяца примерно) еще может продолжаться жизнь с ее интересами, разговорами, заботами, тревогами и т. д. Потом голоса пропадают, и герой в ужасе от услышанного...

### **Жизнь на том свете**

Разумеется, если говорить обо всем этом явлении отпада людей от духовной реальности, то оно состоит в некоем, почти абсолютном, разрыве между Центром и Периферией; душа, как метафизическая реальность, таким образом, действительно «пропадает», и остается только одна видимая оболочка; по существу, воплощенный человек превращается тем самым в привидение, то есть в оболочку без души. (Однако это не означает, конечно, что даже сама жизнь, в метафизическом смысле этого слова, исчезает совершенно; нет, она остается в оболочке, но уже в совершенно иной, причудливой форме; к этому вернемся позднее.) А пока налицо следующее: сам факт химеричности, сам факт бытия человека как привидения Достоевский красочно описывает в этих разговорах с того света: ибо, естественно, что после смерти этот факт обнаруживается, уже совершенно непосредственно, можно сказать, нагло.

Именно такой наглостью и бессмысленностью отличаются эти разговоры мертвецов:

– Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

– Чего просите и что вам угодно?

– Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с... Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются...

– Не слышал.

– Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич...

– Вы генерал Первоедов?

Чем же все это кончается? Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это – не умею вам выразить – продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой...»

Но, собственно говоря, «бобок» (бессмысленное слово, ничего не обозначающее) относится не только к концу, оно символизирует всю эту жизнь:

– Скучновато, однако, – заметил его превосходительство.

– Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

– Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

Что же является неким будоражающим вином в этой жизни, некой виноградной лозой, отчего еще могут блестеть глазки у новоиспеченных мертвецов? Ведь бормочет же один из героев – у покойников:

– Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... я бы пожил! – раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

– Слышите, ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит, молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

– И с легкомыслием.

Таким вином, несомненно, является эротика, и в этом тоже видна очевидная прозорливость Федора Михайловича как реалиста. Конечно, эта эротика, так сказать, бестелесна, но тем не менее ее существование посреди мертвого мира придает последнему живые черты.

– Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

– Какую?... Какую Катишь – плотоядно задрожал голос старца.

– А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, что это за мерзавочка... хорошего дома, воспитанна и – монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я и знал... Катишь, откликнись!

– Хи-хи-хи! – откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. – Хи-хи-хи!

– И блон-ди-ночка? – обрывисто в три звука пролепетал grand-pere.

– Хи-хи-хи!

– Мне... мне давно уже, – залепетал, задыхаясь, старец, – нравилась мечта о блондинке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке...

– Ах, чудовище! – воскликнула Авдотья Игнатьевна.

Или:

«...впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая».

Отсюда уже начинается некая тайная трансформация, превращающая ходячее привидение, вдруг оказавшееся не у дел, уже не в привидение, а в некий реальный феномен, приобщенный к темной стихии невоплощенной эротике, к темной стихии мировых сил.

– Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса.

– Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! – взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

Это уже некоторая жизнь, а не служба в департаменте. «Обнажение» здесь имеется в виду нравственное, душевное, то есть стремление найти в себе хоть что-то живое, пусть мерзкое, но живое. (Иного живого, естественно, нет.) Этот эксгибиционизм трупа имеет исключительное значение, в плане той лазейки, того момента, о котором я писал выше, когда упомянул о том, что в потенции жизнь не уходит из периферии, то есть всегда есть теоретическая возможность превращения привидения в монстра.

Надо сказать, что этой «обнаженности» (в которой у них есть, может быть, последний шанс, или антишанс, избежать полного умирания) способствует, конечно, и сам факт «развоплощенности», обнажающий все углы.

«...Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы».

Действительно, воплощенность ко многому обязывает; во всяком случае, к ограничению «обнаженности». Вообще, она (воплощенность) придает некоторую видимость серьезности, основательности, которая совершенно, до неприличия исчезает, когда тела нет. Там,

«наверху», как выражаются мертвецы, «при теле», многое выглядело иначе. Именно выглядело, и только выглядело. Обратим в связи с этим внимание на одну любопытную деталь; после дискуссии на тему «вы в могиле в преферанс играете», следуют слова о покойнике-генерале:

«...И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

– Нет, не пшик... я и здесь...» Далее этого «я и здесь» дело, конечно, не пошло; что, собственно, значило это «я и здесь»?; говоря словами Достоевского, легкомыслие, и больше ничего.

Но совершенно очевидно, что там, «наверху», чин генерала что-то значил; одно дело привидение в генеральской форме, да еще при теле, другое – без оно, само по себе. И поэтому естественно посмотреть, что же все-таки значила жизнь этих героев наверху.

### **Жизнь «здесь», как жизнь «там»**

Достаточно бегло просмотреть «Бобок», чтобы убедиться в том, что сознание этих героев после смерти осталось точно таким, каким оно было при жизни. (Если не считать крайне обострившегося стремления к «обнаженности» и к отбрасыванию всякой стыдливости.)

Беседы, оттенки те же, что и были при «жизни»; например, большое место занимает тема здоровья и докторов.

«Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу». Самолюбие, заносчивость тоже остались при них; никуда не ушла и обидчивость.

«Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня».

Душевная суетливость тоже.

Нетрудно, разумеется, представить, по этим беседам из могил, чем и как жили эти люди «в теле», наверху. И тогда, естественно, возникает убеждение, что, собственно, их жизнь наверху была такой же жизнью привидений, как и здесь в могилах. Нашему герою можно было бы спокойно не впадать в транс у чужих могил, чтобы слушать голоса из-под земли, а просто пройтись еще раз в тот же ресторанчик около кладбища. Он услышал бы там точно такие же разговоры, пусть более веселые и задористые, какие он услышал здесь у могильной плиты.

Такое же отношение к жизни, к себе, такой же поток внешнего. Может быть, герой был бы больше напуган и даже потрясен, если бы мог не только слышать у могил голоса, а видеть сами оболочки, встающие из гроба. Но его следовало бы тут же спросить: чем отличаются по сути эти привидения от людей, которых он ежедневно тысячами встречал на улицах, на площадях, на квартирах? И тогда, возможно, его страх пропал бы или же принял иную форму, уже смещенную. Постороннее оказалось бы для него не таким уж поосторонним, а потустороннее... потустороннего, по существу, бы и не было, ведь нельзя же назвать потусторонним этот лепет из могил.

Пожалуй – по Достоевскому – «потустороннее» состояние отличается от другого своей обнаженностью, а поостороннее – своей основательностью и серьезностью (по видимости, по телу) и еще большим легкомыслием в душе.

«...Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего».

Итак, поток воплощенных привидений. Было бы любопытно, если бы герой «Бобка» перенес свои наблюдения с кладбища на улицы; он пишет про себя: «в лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на свою впечатлительность»; еще более не стоило бы ему надеяться на свою впечатлительность, если бы он умел заглядывать в глаза живых людей, этих героев мировой реалистической литературы; и, вместо того чтобы смотреть на мертвого генерала и барыньку, заглянул бы в их глаза за месяц до своего похода на кладбище... Впрочем, тогда он мог бы действительно пострадать: в отличие от обычных привидений, воплощенное

привидение может, например... кусаться. Отличие не столь уж принципиальное, но в практическом отношении крайне неудобное...

## Достоевский и спиритизм

Вместе с тем можно обратить внимание на то, что эти беседы, описанные Достоевским, беседы из-под могильных плит, во многом напоминают своим бессмыслием и прикованностью к земным моментам те сентенции, которые вскрываются часто на обычных спиритических сеансах (правда, довольно низкого уровня).

То, что так бывает на подобных спиритических сеансах – это естественно, но ведь цель Достоевского была не в описании феноменов спиритического сеанса, не в описании проявлений умирающей психики и всех тех явлений низшего порядка и распада, которыми оно окружено. В рассказе говорится, что, грубо говоря, ничего, кроме этого, и нет в душе современного умершего человека (по крайней мере, в душе этих людей) – и, следовательно, у них нет и самой души, как бессмертного начала.

Надо сказать, что в рассказе есть один антагонист: простолюдин, ортодокс, который считает, что все происходящее – обычные мытарства души, первые послесмертные муки (и, следовательно, в конце может быть не «бобок», а очищение, просветление).

– Ох-хо-хо! Воистину душа по мытарствам ходит! – раздался было голос простолюдина...

Однако если говорить о логике рассказа, то совершенно очевидно, что у всех этих людей «очищения» не может быть; тем более что очищаться, собственно, нечему: всякое отношение к Центру настолько потеряно, что оболочка получила как бы самостоятельное существование. Да и они сами ясно сознают это.

– Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок.

Это мировосприятие достаточно правдиво, поскольку оно просто отражает их собственную судьбу, и больше ничего; это не значит, разумеется, что за пределом такого уровня бытия невозможен прямо противоположный выход.

Естественно, что самого Достоевского могли натолкнуть на такой грустный рассказ только наблюдения над жизнью его века, над людьми. В идеале такая перспектива – даже для малых сих – казалась ему возмутительной. Поэтому спиритизм, как видно из «Дневника писателя», вызывал в нем отвращение, и Достоевский был неприятно удивлен его начинающимся распространением. Вероятно, он видел в этом очередной признак деградации. Действительно, не нужно знать механику невидимого мира, чтобы то «существование», которое обнаруживается на спиритических сеансах, признать по меньшей мере идиотским. Здесь нелепо даже говорить о какой-то метафизической реальности, поскольку эти явления во многом значительно ниже уровня обыденного состояния живого человека. Поэтому Достоевский мог даже не ссылаться на духовный уровень при осуждении этих явлений. Тем не менее характерно, что обычная жизнь порой вырождалась до такой степени, что для ее описания Достоевский прибегал к формам, похожим на изложение того, что отчасти происходит на спиритических сеансах.

Поэтому слово «бобок» в рассказе Достоевского символизирует до известной степени не только идиотизм псевдозагробной жизни, но и бессмыслицу земного существования при тотальном воплощении эдаких ходячих привидений в условиях нашей цивилизации. В этом случае псевдосмысл, который придают своим делам воплощенные привидения, оказывается еще страшнее явной бессмыслицы.

*Цитаты взяты автором из Собрания сочинений Ф.М. Достоевского, т. 10, Государственное издательство «Художественная литература». М., 1958.*

## О Достоевском

Меня иногда называют «последователем» Достоевского.

По большому счету это не совсем, или даже может быть, далеко не так. Хотя, действительно, Достоевский мой любимый писатель и, несомненно, какая-то связь существует. В чем эта связь проявляется и что особенно ценно для меня в этом величайшем писателе?

Прежде всего, и главным образом, – это введение метафизических проблем в живую ткань современной литературы. Метафизикой были наполнены, естественно, произведения древней и средневековой литературы, но особым образом, далеким от современного восприятия.

Достоевский же сделал это на современном, причем очень русском, уровне, превратив метафизические проблемы в раны, надрывные сферы «обыденной» жизни. Он превратил метафизику в вопрос жизни и смерти для русского человека. В этом его великая заслуга. Он считал, что русский патриот должен быть одновременно «всечеловеком» (как это не звучит парадоксально), то есть должен понять и впитать всю мировую культуру и метафизику.

Он был не только гениальным, но и эзотерическим (при правильном понимании этого слова)<sup>2</sup> писателем, о чем свидетельствуют, например, его «Записки из подполья» – при внешнем раскладе на уровне «психологизма» или «экзистенциализма», забывают о том, что это произведение может быть прочтено на ином эзотерическом уровне.

Всего вышесказанного вполне достаточно, чтобы выявить ту связь, которую я упоминал. Но нужно отметить, что, с моей точки зрения, произведения Достоевского слишком антропологичны.

Между тем метафизика не замыкается (только) для человека, не говоря уже о том, что сама концепция, само понятие «человек» гораздо шире, многогранней и необычней, чем это представляют. Правда, Федор Михайлович не советовал особенно «расширяться», – ибо неизвестно до чего дойдешь, хотя сам все-таки «расширял», но ведь можно «расширить» и дальше, совсем уже за пределами.

*Ю. Мамлеев*

---

<sup>2</sup> Эзотеризм – обычно наиболее глубинное понимание религиозных или метафизических учений, а отнюдь не увлечение спиритизмом, «окультными науками» и прочим полубредом.



## Вступление

В этой книге я попытался совершить нечто необычное. К каждому рассказу, опубликованному ранее или новому, я написал эпилог, точнее комментарий, эссе, в котором я имел дерзость пояснить рассказ, написать о том, как он создавался, о «сути», символике данного произведения и так далее. Задача в какой-то степени выполнимая, но ясно, что никакой анализ, никакой текст вообще не может объяснить все уровни смыслов, подтекст, метафизические аспекты художественного произведения.

Кое до чего можно докопаться, но всегда останется неопишваемое или скрытое.

К тому же читатель фактически является соавтором произведения. Писатель, который интерпретирует свои тексты, выступает уже тоже в роли читателя. Но каждый читатель может понимать ту или иную вещь сугубо по-своему. Разумеется, есть что-то общее, но индивидуальный аспект, интуиция также весьма значимы.

Но все же мне есть о чем поведать. Итак...

## Бывает...

Коля Веткин был существо ни во что не верящее. Во всем высшем он сомневался, негодовал и часто плакал по ночам, когда думал, что нечто высшее есть. Но зато в мире сем был уверен. Не то чтобы уж совсем, но как все. Было ему 25 лет и жил в бедной «хрущевке» на 4-м этаже, в однокомнатной квартире один. И район был весьма никудышный. Но Коля ко всему приспособился. Капитализм оказался ему по плечу, в общем, он не голодал и на водку хватало. Работал как попало и где попало. Не скучал он, в конце концов, от этой жизни. Соседи за года перестройки свыклись со своей судьбой и жили тихо, смиренно, законобоязненно. Ясно, что немного странные они были люди. Кругом ворье, разбой, а они затихли. Из-за тишины их самих и не грабили, потому как даже шпана удивлялась им. Коля со шпаной был на «ты», и они его не трогали. По их понятиям, он им был свой, хотя никого не бил, не воровал, не грабил. Коля таким отношением очень гордился. Но соседка его по лестничной клетке, старушка Варвара Степановна, говорила, что он плохо кончит. Веткин не отрицал этого, хотя в душе не понимал, почему он должен плохо кончить. А если плохо, то ведь и все плохо кончат, рассуждал он про себя. Дети вокруг казались обычными, и среди них находились другие, какие-то задумчивые.

Коля Веткин особенно уважал одну с нижнего этажа. Ее звали Ирочкой, и было ей лет десять. Родители ее пропали, и жила с дедушкой, Петром Палычем Вильевым, человеком лет 50-ти, работающим и уже непьющим. Ира любила своего дедушку, только плакалась, что у него нет бороды. Нередко прогуливались они вместе. Петр Палыч степенно вел внучку за руку, а она, отнюдь не шаловливая, покорялась ему от всего сердца и с уважением. Никому не известно, в том числе и самому Коле, почему он уважал 10-летнюю Иру. То, что он уважал дедулю, понятно, а то, что внучку – не совсем. Встречаясь в доме на грязноватой лестнице, он всегда здоровался с Петром Палычем и перекидывался с ним несколькими многозначительными словами.

И вот однажды возвращался Коля из магазина домой и видит: незнакомый мужик лет 50-ти с лестницы навстречу ему спускается. Коля поднимается, не обращая внимания, поравнялись, а мужик ему и говорит:

– Что ж ты, Николай, старого соседа не узнаешь?

И хриплым таким голосом говорит. Коля Веткин так и замер. И видит: за спиной у незнакомца она, Ирочка. И пищит:

– Как же вы с дедом моим не здороваетесь...

Коля совсем остолбенел. Смотрит на незнакомца и ничего не понимает. Рост вроде тот же, возраст тоже подходит, но рожа-то совсем другая. Морщинистая, строгая, брови лохматые, и глаза дикие. А у Петра Палыча лицо было доброе, забитое жизнью. Коля отступил к стене и пробормотал:

– Да что же это такое...

А дедуля поглядел на него глубинно-мрачно так и проговорил:

– Совсем молодежь памяти лишилась. Задуриет голову мраком, и он теперь и с родной матерью не будет здороваться, слова ей не скажет. Помирать будет, а он телевизор смотреть станет.

Коля телевизор отродясь не смотрел, не любил. Но, взглянув еще раз на Петра Палыча, решил, что конец его, Коли, близок.

Он быстренько сбежал вверх к своей квартире. Увильнул, одним словом... Но дальше пошло еще хуже...

На другой день Коля встретил Петра Палыча – и как ни в чем не бывало. Вильев Петр – он, и лицо прежнее, и внучка при нем.

Коля не показал вида, подумав, что он во всем виноват. Поздоровались нормально. Петр Палыч в глаза глядел, как всегда, добренько.

Дня через два Коля Веткин опять наткнулся на Петра Палыча с внучкой. На тихой улочке, сбоку. Только лицом это был уже не Петр Палыч, лицо было иное, уже третье с виду, считая лицо собственно Петра Палыча и его лицо на лестничной клетке, впервые иное. И сейчас оно тоже было иное, с ухмылкой.

Петр Палыч внучку держать за ручку бросил, сам руки раскрыл для объятий и с криком радости ринулся на Веткина. Веткин с визгом улизнул. И все это стало повторяться с тупой последовательностью. То у Петра Палыча обычное его лицо, то другие, с разными оттенками и нюансами. То не в меру смешливое, даже дурашливое, то глубоко мрачное, то истеричное, и совсем непохожие.

Коля Веткин тогда чуть не помешался. Все боялся, что Петр Палыч его укусит. «Если он так меняется, то почему же он не укусит тем более» – думалось Веткину.

У соседей он по поводу лица Петра Вильева и спрашивать не решался, мол, в сумасшедший дом отправят, правда, спросил у одного строгого деда, но тот погрозился в милицию позвонить. А жизнь шла все хуже и хуже, словно углубляясь в безумный и черный туннель.

От всего такого расклада Коля Веткин совсем ошалел и решил отрицать самого себя. Взглянет в зеркало, улыбнется как нездешний и скажет:

– А это не я.

«Главное, наплевать себе в душу и перестать думать, – твердил себе Веткин даже за обедом у себя на кухне – наплюешь, и вроде легче станет. Оплеванному все равно, что творится с соседями».

На несколько дней он стих. А потом раз вышел во двор —и не узнал людей вокруг него.

Все лица какие-то не такие. Появилось в них что-то совсем загадочное, точно и сами люди перестали быть привычными и отзывчивыми, какими Веткин их всегда видел и радовался, а стали чужими, не нашими, словно свалились из периода перед концом мира. Коля тогда закричал, но никто на его крик не обратил внимания. Мол, кричит там кто-то, покричит и кончит. Вольному воля. От крика еще никто не умирал.

Думали эти чужие так или иначе, никто им, видно, не был судьей.

Коля Веткина тогда страх объял. Подошел он к одному и спрашивает: «Парень, ты кто? Ответь!» А тот молчит и смотрит на него совершенно отсутствующими глазами. Холод, холод, бесконечный холод объял Веткина. И тогда побежал он, как зайчик, лихо, скорей домой в свою квартиру. Заперся там у себя и под столом запил. Благо, водки накоплен был ряд бутылок. Пил водку из горла, захлебываясь от чувств. Не по-черному, а как-то инопланетно даже пил. И забыл про отрицание самого себя. Дней через семь очнулся. Квартира разбита, мебель перевернута, но холодильник пустой. На полу следы от чертей. Но на душе почему-то стало радостно. Похмелье было раньше, а сейчас после семи дней какое похмелье: одна чистота в глазах. Вышел из квартиры, еле одет. На дворе все, как прежде, до катаклизма, народ привычный, добрый, на Веткина сочувственно смотрит: дескать, совсем дошел, выйти к людям не в чем. А вот и Петр Палыч стоит с внучкой. И лицо у него свое, а не чужое. Улыбается Веткину. И внучка за его спиной хихикает. И ощутил Веткин всей душой своей, что это уже надолго, катаклизма больше не ожидается внутри личности человека. Какими они были, такими вроде и останутся. Колю осенило тогда счастье, и он решил им поделиться. Видит – один внимательный старичок у столба стоит. Задумался. Но взгляд пронизательный. Коля скорее к нему. И рассказал обо всем, подробно, с деталями, а начал, конечно, с лица Петра Палыча. Когда Коля закончил, старичок усмехнулся и спокойненько, рассудительно так, проговорил:

– Бывает.

(И пожал старческими плечами.)

## Приход

Не было ни снов, ни кошмаров, исходящих из плоти, ни тупого ощущения смерти, которой нет, ни страха, выворачивающего внутренности. Просто Григорий знал: надвигается ужас. Якобы все оставалось на месте: дома-коробки, равнодушные к своему существованию; солнце в пустом небе; трамваи. Но в мире появилось нечто, имеющее отношение только к Григорию. Поэтому остальные ничего не замечали. Оно было скрыто, но казалось, все вещи в миру, даже сам воздух, были лишь его оболочкой (или завесой?!). Да и то, главное, было не в этом. Главное стало в сжимающейся душе Григория... Но почему она сжималась?! Может быть, что-нибудь неизвестное входило в нее и она опустошалась?! Но зато многое выжалось в его глазах. Они, сами по себе маленькие, выкатывались, и на их поверхности соединялись такие слезы, водяные тени и испуг, что и сумасшедшие могли бы сойти с ума еще раз. А как подпрыгивал Григорий, ведомый своими глазками! Ноги он расставлял в стороны, широко, как лягушка, и затем прыгал вперед, в пространство. Официанты одобрительно смеялись, глядя на эти сцены. Волосы у него при этом поднимались вверх, как у Мефистофеля.



Но на самом деле эти прыжки вовсе не выражали ужаса Григория, напротив, скорее это было его веселие, может быть, просто развлечение, в котором он отдыхал. Сам ужас ни в чем не выражался. Точнее, пока еще в полной мере ужаса не было, было только его приближение. Но и оно было невыразимо, так что обычный ужас стал веселием по сравнению с этим. Григорий очень полюбил обычный ужас с тех пор, как «оно» стало надвигаться. Как веселый поэт, он несколько раз бегал из конца в конец по длинному мосту, поднятому высоко над рекой, и

все время заглядывал вниз, в бездну. Туда, как всегда, манило, и все создавало комфорт для бессмертного прыжка вниз: и теплый летний ветерок, и зелень лесов на берегу, и синее солнечное небо, и томная гладь реки. Но Григорий, который раньше боялся смотреть вниз даже со второго этажа, теперь хохотал, глядя в эту смерть на лету. Он скакал по краю моста, как бессмысленная и радостная птичка. Только что не было крылышек. Дома сжег все, что написал за десять лет. Прогнал жену, которую любил изнутри. А глаза все наполнялись и наполнялись приближением, которое ни в чем не выражалось, но вместе с тем вытесняло и страх, и слезы, и водяные тени. Глаза становились не глазами.

Чем же стали его глаза?! Но никто их, по существу, не видел.

– Привидение, привидение! – правда, закричала одна маленькая девочка.

Но она была слишком слаба и могла принять хоккейную клюшку за призрак.

Кошки и те не разбегались от глаз Григория. Да и он стал смотреть в одни стены. Ожидая, что там появятся знаки, пусть почти невидимые, на камнях, на стекле, в самом воздухе, между сплетающимися цветами на подоконниках. Он, правда, их так и не увидел, но ему казалось, что некоторые – тихие, без шляп – грозили пальцами: туда, сквозь розы. Но тот, другой знак, который видеоощущал Григорий, был абсолютен. Он был во всем. И на исходе третьего месяца Григорий стал трястись мелкой такой, абстрактной и непрерывной дрожью. Члены отрывались от головы, которая холодела.

И тогда в его глазах вдруг появилось последнее выражение предчувствия. Оно явственно говорило о том, что ужас скоро грядет. Иными словами, приход совсем близок. Приход, который относился только к Григорию, приход, который вызывает в душе его только ужас, но без всякого осознания кто и что придет. Стал подпрыгивать, бить себя палкой по голове. Как сладка бывает человеческая боль!

И внезапно захохотал! Утром, когда весь мир был погружен в сон. О, это был не тот хохот, когда он глядел в бездну! Это был непрерывный тотальный хохот, не прекращающийся ни на минуту, ни на вздох. Да и по сути иной. Правда, в нем слышались светоносные рыдания, приглушенные, однако, волнами смеха.

Кроме рыданий слышалось также безразличие, которое тоже заглушалось хохотом. А за далью безразличия был холод, который проникал еще дальше, в сам хохот, но тоже был им отодвинут, чуть отзываясь ледяным безумием в раскатах этого смеха. Но хохот был выше всего. Он покрывал саму смерть, возвышался над нею, как мрак. Таким хохотом можно было бы захохотать ангелов.

Шел третий час такого непрерывного хохота. Григорий был один в своей комнате. То ли он сидел, то ли застыл в невиданной позе?! Но он целиком ушел в высший мрак своего хохота.

Вдруг кругом стало стремительно светлеть, словно весь мир превращался в светло-призрачный. Сознание разрывалось, на мгновение переставая быть, и что-то неизвестное и шокирующее в его душу сразу уходило вверх, в небо, а что-то оставалось здесь, в душе... Как в вихре, он изменялся, ничего не понимая...

Очнулся он одиноким. Никакого ужаса не было. «Когда же будет приход?» – подумал он. И сразу почувствовал, что его уже не терзает это. Сонно и светло оглядел он комнату, дома за окном, часы у стены. «Наконец-то все в порядке», – решил Григорий.

Везде действительно был порядок. И сам он светился. Дома были не дома, стены не стены. Душа словно превратилась в ледяную глыбу. И глаза, видя, не видели. Какой-то занавес рухнул.

Не было и привычных дум о смерти.

Но зато стало так странно, что исчезло само понятие о странности, а ее реальность превратилась в обыденность, не теряя при этом ничего.

«Да во что превратилось мое тело?» – спокойно подумал Григорий.

Точно оно стало душой, а душа превратилась в тело.

Он вышел. Люди казались теньями, шум их небытия уходил в потустороннее этому миру. Все вроде бы чуть-чуть сдвинулось. Но внутри него было не «чуть-чуть», а то, о чем нельзя было даже задавать вопросов. Неба как будто не было, точнее, все превратилось в небо, в котором плыли осторожные призраки – прежние люди, твари, дома.

И тогда Григория охватила белая, пронизывающая радость – радость оттого, что все умирает, что все в полном порядке...

Радость вне судьбы и всего того, что происходит... Радость помимо существования... Она выбросила его в ближайший переулочек... Он плыл вперед. И внезапно – за оградой, в саду, у стола со скамейкой, в стороне от старинного дома – он увидел существ. Они были белые, высокие, светящиеся, с узкими, длинными, как свечи, головами, уходящими ввысь, словно растворенными в небе. Они как бы плыли, в то же время ступая по земле, и светло белели подавляющим крайним бытием.

Их оторванность ото всего больно ранила Григория. Он дико закричал, хотя какой может быть крик в том мире, где царит полный порядок! Этот крик не изменил его, и он остался кричать, как цапля, повисшая над озером. Для существ ничего не существовало, что было ему знакомо...

– Боже, как он высок, как он высок! – застонал Григорий, указывая на одно. – Что они «делают», что «говорят», что «думают»?!! ...Есть ли между ними нить?!

И он стал пристально, тихо прижавшись к дереву, вглядываться в них. Какое счастье, что они и его не замечали! Выдержал бы он их внимание?!

Призрачно-странный порядок – тот, который появился после его пробуждения, – неожиданно разрушался, чем больше он вглядывался в существа. Может быть, он просто заполнял собой все. Его душа росла и росла, по мере того, как он иступленно глядел на них. А они, видимо, не замечали его, оторванные ото всего, что прежде было реальностью. Они плыли мимо себя, постоянно пребывая в себе и в чем-то еще.

«До какой степени они вне? – думал Григорий телом и был не в силах оторваться от них взглядом, хотя эта прикованность все изменяла и изменяла его (по ту сторону спокойствия и тревоги), с каждой минутой все мощнее и скорее, и он быстро терял возможность остановиться и выйти в прежний белый покой, в котором – строго говоря – не было никакого покоя.

И тогда он увидел круг. Один большой светлый круг над миром, круг, ранее им не видимый, но который, в сущности, был не видим им и теперь – для тайно возникшего в нем интеллектуального света, – так как был навеки скрыт ото всего своей белизной.

И тогда Григорий опять закричал. «С ними я могу... С этими лицами! – он посмотрел на существа. – Но в этом круге я исчезну! О, зачем, зачем?!»

И он закрыл глаза, чтобы не видеть холодно-ослепительного божества.

Но существа вдруг открылись. Он понял, что есть нить – нить между ним и ими.

Ему даже показалось, что тот высокий сделал еле заметное движение, чтобы призвать Григория к себе – как собрата. Григорий двинулся навстречу туда, к существам. И в ответ сознание его окончательно рассыпалось – рассыпалось на чуткие, безымянные искры, которые летали в пустоте, как от костра.

На мгновение он ощутил себя блаженным идиотом, который с высунутым языком наблюдает полет своих слюн. Но в то же время распавшееся сознание обнажило пустоту – белую, странную пустоту внутри него, которая сразу стала оживать и шевелиться. И ему почудилось, что он уже может общаться с этой пробужденной пустотой, ставшей белой, с теми светлыми, плывущими над измененным миром существами.

Может быть, он уже «говорил» с ними. Но исчезающая привычка осознавать мешала ему войти в новый мир – вернее, помешала на секунду... Искры вспыхнули и погасли...

И когда Григорий подбежал к существам, он уже был не Григорий... Он только весело вертелся посреди – словно помахивая хвостиком – под непонятным и холодно-зачарованным свето-взглядом, исходящим от их тел...

## **УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ**

Человечек я нервный, издерганный, замученный противоречиями жизни. Но когда возникают еще и другие противоречия, не всегда свойственные жизни, то тут уж совсем беда. – Утопи, негодяй, мою голову... – услышал я во сне холодное предостережение, сказанное четырнадцатилетней девочкой Таней, которая за день до того повесилась у нас под дверью.



Собственно, история была такова. Во-первых, она вовсе не повесилась. Это я сказал просто так, для удобства и легкости выражения. Таня засунула голову в какую-то строительную машину, и, когда что-то там сработало, ей отрезало голову, как птичке, и голова упала на песок. Во-вторых, не совсем у меня под дверью, а шагах в ста от нашего парадного, на пыльной, серой улице, где и велось строительство. Покончила она с собой по неизвестным причинам. Говорили, правда, что ее – часа за два до смерти – остановил на улице какой-то мужчина в черной шляпе и что-то долго-долго шептал ей в ухо. И такое нашептал, что она возьми – и

покончи. После этого шептуна упорно искали, но так и не нашли. Думаю, что нашептали кое-какие намеки на... Тсс, дальше не буду.

Итак, уже через несколько часов после своей смерти она ко мне явилась. Правда, во сне...

А теперь о наших отношениях. Были они тихие, корректные и почти метафизические. Точнее, мы друг друга не знали, и дай бог, если слова три-четыре бросили друг другу за всю жизнь. Хотя она и была наша соседка. Но взгляды кой-какие были. Странные, почти ирреальные. С ее стороны. Один взгляд особенно запомнил: отсутствующий, точно когда маленькие дети рот раскрывают от удивления, и в то же время по-нашему пустой, из бездны. Потом я понял, что она вовсе не на меня так смотрела, а в какой-то провал, в какую-то дыру у лестницы. А вообще-то, взгляд у нее был всегда очень обычный, даже какой-то слишком обычный, до ужаса, до химеры обычный, с таким взглядом курицу хорошо есть. А порой, наоборот, взгляд у нее был такой, как если бы мертвая курица могла смотреть, как ее едят.

И все, больше ничего между нами не было. И поэтому почему она ко мне пришла после смерти – не знаю. Просто пришла, и все. Да еще с таким старомодным требованием.

Но я сразу понял, как только она мне приснилась в первый раз, что это серьезно. Все серьезно, и то, что она явилась, и то, что она явилась именно ко мне, и то, что она настаивала утопить ее голову. И что теперь покоя мне не будет.

Тут же после сновидения я проснулся. Вся мелкая, повседневная нервность сразу же прошла, точно в мою жизнь вошло небывалое. Я открыл окно, присел рядом. Свежий ночной воздух был как-то таинственно связан с тьмой. «Ого-го-го!» – проговорил я.

...Только под утро я заснул. И опять, хотя вокруг моей сонной кровати уже было светло, раздался все тот же металлический голос Тани: «Утопи мою голову!» В ее тоне было что-то высшее, чем угроза. И даже высшее, чем приказ.

Я опять проснулся. Умственно я ничего не понял. Но какое-то жуткое изменение произошло внутри души. И кроме того, я точно ослеп по отношению к миру. Может быть, мир стал игрушкой. Я не помню точно, сколько прошло дней и ночей. Наверное, немного. Но они слиты были для меня в одну, но разделенную внутри реальность: день – слепой, белый, где все стало неотличимым, ровным; ночь – подлинная реальность, но среди тьмы, в которой, как свет, различался этот голос: «Утопи, утопи мою голову... Утопи, утопи, утопи...» Голос был тот же, как бы свыше, но иногда в нем звучали истерические, нетерпеливые нотки. Точно Таня негодовала – сердилась и начинала сходить с ума от нетерпения, что я медлю с предназначением. Эта ее женская нетерпеливость и вывела меня из себя окончательно. В конце концов куда, зачем было так торопиться? Таня еще была даже не похоронена, тело лежало в морге, а родителям ее сказали, что голова уже надежно пришта к туловищу. Не мог же я, как сумасшедший, бежать в морг, устраивать скандал, требовать голову и т. п. Согласитесь, что это было бы, по крайней мере, подозрительно. Тем более я-то ей никто. Может быть, ее родители еще могли бы запросить ее голову, но только не я. А обращалась она ко мне!

Отчетливо помню день похорон. Здесь уже я начал подумывать о том, что бы такое предпринять, чтобы стащить ее голову. Но остановило меня то, что ее хоронили по христианскому обряду. Значит – во время похорон нельзя. Я даже смутно надеялся, что после таких похорон она успокоится. Ничуть. После похорон ее требования, ее голос стал еще более безумен и настойчив.

Через два дня после похорон я попробовал обратиться за консультациями.

Решил идти в райком комсомола. Я, естественно, комсомолец, кончил университет, добровольно сотрудничал в комсомольско-молодежном историческом обществе. Там мы занимались в основном прошлым, особенно про святых и чертей; кому что по душе – кто увлекался Тихоном Задонским и Нилом Сорским, кто – больше про чертей и леших. А кто – и другим. Это и была наша комсомольская работа. Так вот, Витя Прохоров в этом обществе видный пост занимал, по комсомольской линии. Сам он был мистик, отпустил бороду и в Кижии наез-

жал чуть ли не каждый месяц. Знания у него были удивительные – от астрологии до тибетской магии. Потом его перебросили в райком комсомола, завоём культурным и научно-атеистическим сектором. Вот к нему-то я и устремился на второй день после похорон Танечки.

...Витя встретил меня в своем маленьком и скромном кабинетике. На стене висел портрет товарища Луначарского. Взглянув на меня, он вытащил из какого-то темного угла поллитровку и предложил отдохнуть. Но я сразу, нервно и взвинченно, приступил к делу. Выложил все как есть про Танечку... Он что-то вдруг загрустил.

– А наяву у тебя не бывает видений Тани? – спросил он, даже не раскупорив бутылку с водкой.

– Нет, никогда. Только во сне, – ответил я.

– Значит, дело плохо. Если бы днем, наяву – другой подтекст, более легкий.

– Я так и думал! – взмолился я. – Только во сне! А днем – никаких знаков, но в меня вошла какая-то новая реальность. Все парализовано ею. Я не вижу мир. Я знаю только, что мне надо утопить ее голову!

– В том-то и дело. Это твоя новая реальность – самый грозный знак. Голос – пустяки по сравнению с этим... Когда, говоришь, ее похоронили?

– Два дня назад.

– Вот что, Коля, – буднично сказал Прохоров, – скоро она к тебе придет. Не во сне, а наяву, в теле.

– Как в теле?

– Да очень просто. Ты все-таки должен знать, что, например, святые и колдуны обладают способностью реализовывать так называемое второе тело. Это значит, что они могут, скажем, спать и в то же время находиться в любом другом месте, очень отдаленном, например, но, заметь, не в виде «призрака» или «астрала», а в точно таком же физическом теле, в его, так сказать, двойнике. Иногда они так являлись к друзьям или ученикам. Хорошие это были встречи. Святые это делают, конечно, с помощью коренных высших сил, колдуны же с помощью совершенно других реалий... Так вот, более или менее естественным путем это может иногда происходить и у самых обычных людей, только сразу после их смерти... Короче, приходят они порой к живым в дубликаты, в физическом теле своем, хотя труп гниет...

– Очень может быть, – как-то быстро согласился я.

– Э, Коля, Коля, – посмотрел на меня Прохоров. – Все так просто в жизни и смерти, а мы все усложняем, придумываем... В Кижях, между прочим, один старичок очень забавно мне рассказывал о своей встрече с упокойной сестрицей... Но, учти, с Таней все гораздо сложнее... Она – необычное существо...

– Хватит, Виктор. Все понятно. Дальше можешь не говорить. Давай-ка лучше выпьем. Надеюсь, у тебя тут не одна поллитра.

И мы напились так, как давненько не напивались. Прохоров даже обмочил свое кресло. Комсомольская секретарша, толстенькая Зина, еле выволокла нас, по-домашнему, из кабинета – в кусты, на травку перед райкомом. Там мы и проспали до поздней ночи – благо, было тепло, по-летнему и никто нас не смущал. Вытрезвительная машина обычно далеко объезжала райком.

Глубокой ночью я еле доплелся до дому. Пустынные широкие улицы Москвы навевали покой и бездонность. Наконец дошел. Зажег свет в своей каморке, лег на диван. Но заснуть не хотел: боялся Таниного голоса.

Еще два дня я так протянул. А ведь знал, что тянуть нельзя. Надо было тащить голову. Но мной овладели какая-то лень и апатия.

И вот третий день. Я сидел в своей комнате, у круглого обеденного стола, дверь почему-то была открыта в коридор. На столе лежали буханка черного хлеба, ободранная колбаса и солонка с солью. Соль была немного просыпана. «К ссоре», – лениво думал я, укатывая хлеб-

ные крошки. Почему-то взгляд мой все время падал на занавеску – занавеску не у окна, а около моего нелепого старого шкафа с беспорядочно повешенными в нем рубашками, пальто и костюмами... Эта занавеска все время немного колыхалась... Все произошло быстро, почти молниеносно и так, как будто бы воплотился дух. Таня просто вывалилась из шкафа. Мгновенно поднявшись, она прыгнула мне на колени и с кошачьей ловкостью обвила меня руками. Плоть ее была очень тяжела. Гораздо тяжелее, чем при жизни. Я чувствовал на своем лице ее странное и какое-то отдаленно-ледяное, но вместе с тем очень живое, даже потаенно-живое дыхание. Глаз, глаз только я не видел. Куда они делись?

– Папочка, папочка милый, – заговорила она быстро-быстро, обдавая меня своим дыханием. – Обязательно утопи мою голову... Ты слышишь? Утопи мою голову...

Больше я уже ничего не слышал: глубокий обморок спас меня. Сон, только глубокий сон наше спасение. Сон без сновидений. И еще лучше – вечный сон, навсегда. Вот где безопасность!

...Очнулся я, когда Тани уже не было в комнате. Окончательно меня добило это дыхание на моих губах: смесь жизни и смерти. Но я начал сомневаться: действительно ли она вышла из шкафа? А может быть, из-за этой вечной колеблющейся занавески? А может быть, просто вошла в открытую дверь? Однако сначала мне было не до этих вопросов. Болел затылок от удара головой об пол. Стул, на котором я сидел, сломался. А солонка так и оставалась на столе, рядом с рассыпанной солью... В конце концов этот стул я еле достал у знакомых – это был антикварный, редкий стул! Я купил его себе в подарок, когда ушел от жены. Может быть, Таня, если бы не отрезала себе голову, стала бы моей родимой и вечной женой – в будущем, когда бы подросла. Обвенчались бы в церкви. Как это поется: «Зачем нам расставаться, зачем в разлуке жить?! Не лучше ль повенчаться и друг друга любить». И поехали бы в свадебное путешествие по Волге вместе с этим странным стулом; он так велик, что на нем можно уместиться вдвоем.

Интересно, могла бы быть Таня хорошей женой для меня? Правда, при всей простоте этой девочки, было у нее внутри что-то страшное, огромное, русское... Да, но почему она назвала меня своим папочкой?! Какой я ей отец, в чем?!

Медлить и тянуть кота за хвост больше нельзя. Пора ехать на кладбище.

Почему в наших пивных всегда так много народу, впрочем, может быть, так оно и лучше. Как-то теплей. Но мне не до поцелуев с незнакомыми людьми, не до объяснений, скажем, вот с тем седым пропойцем у окна, Андреем, которого я вижу в первый раз, что «Андрюша, ты пойми, что я без тебя жить не могу, я уже двенадцать лет о тебе думаю». Сейчас я холоден и реалистичен, несмотря на безумную и отравляющую мое сознание острым и тяжким хмелем кружку пива. Я обдумываю, где мне достать деньги. Придется кое-что продать, кое-чем спекулировать. Меньше, чем триста рублей, за такое дело могильщик не возьмется. А это большие деньги. Это ровно тысяча двести таких вот безумных кружек пива, от которых можно сойти с ума. Могильщик, который должен будет разрыть Танину могилу и вскрыть гроб, не пропьет сразу все эти триста рублей. Хотя я знаю, все могильщики большие пропойцы, и свое черное дело они совершают всегда пьяные, с мутным взором. Но мне одному все равно не вырыть гроб: я слаб, нервен, на кладбище есть сторож даже ночью; надо знать время, когда он обычно спит, или что-нибудь в этом роде.

Потребовалась еще мучительная неделя, чтобы я напал на след Таниного могильщика и понял, что дальше искать не надо: он согласится сам на такое дело. Это был грязный, полупившийся мужчина по имени Семен, с тяжелым, но где-то детским взглядом. Почему-то он привел с собой еще своего кореша – этот не работал на кладбище, но могильщик ему во всем доверял. Звали кореша Степан. Он был маленький, толстенький и до дурости веселый, почти совсем шальной от радости. Возможно, это было потому, что он часто помогал могильщику. Наверное, великое счастье участвовать не главным в таких делах, но все-таки участвовать.



Мы присели на бревнышках, у травки, у зеленого пивного ларька, недалеко от кладбища. Толстая продавщица все время распевала старинные песни, продавая пиво. Семен с ходу резко спросил меня:

– Для чего тебе голова?

Легенда у меня уже была готова.

– Видишь ли, – сказал я печальным голосом, – это моя племянница. Я хотел бы иметь ее голову на память.

– Ты так ее любил? – спросил до дурасти веселый Степан.

– Очень любил, а сейчас еще больше...

– Сейчас еще больше... Тогда понятно, – прервал Семен.

– А где ты будешь хранить голову? – опять вмешался Степан.

– Я засушу ее, вообще подправлю, чтобы она не гнила, – ответил я, прихлебывая пиво. – А где хранить... Я даже не думал об этом... Может быть, у бывшей жены.

– Только не храни ее в уборной, – предупредил Степан. – Туда всегда заходят гости, друзья. Не хорошо...

– Это не важно, – оборвал Семен. – Пусть хранит где хочет. Это не наше дело. А что он скажет другим – тоже не наше дело. Мы все равно завербовались на Колыму и скоро уезжаем. Там нас не найдешь.

– Но вы, ребята, уверены, что все будет шито-крыто? – спросил я.

– Мы свое дело знаем. Ты у нас не первый такой.

Тут уж пришел черед удивляться мне.

– То есть как не первый?

– Эх, тюря, – усмехнулся Семен. – Бывает порой. Ведь среди нас есть такие, как ты, плаксивые. Студентка одна была здесь полгода назад: забыла взять волосик с мертвого мужа. Коровой редела. Пришлось отрыть. Случается, некоторые пуговицы просят, но большинство волосики. Все было на моем веку.

Одна дамочка просила просто заглянуть в гроб, хотя лет десять уже прошло с похорон мужа, из любопытства, – разные есть люди. Правда, насчет головы ты у нас первый такой нашелся, широкая натура, видно, сильно ее любишь. Но, учти, за волосик или так за любопытство мы берем сто, ну, сто пятьдесят рублей, смотря по рылу. А за голову двести пятьдесят выкладывай – без разговоров.

– Само собой... Мне присутствовать? – спросил я.

– Зачем? – удивился Семен. – Если волосик, тогда конечно, потому что надуть можно, хотя мы люди честные. Но головку-то спутать нельзя, тем более всего неделя какая-то прошла с похорон. Мы вдвоем со Степаном управимся. Ну вот наконец-то поллитра вылезло из кармана! Разливай, Степан, на троих, у тебя глаз аккуратный... Да, значит, договоримся о встрече. Товар на обмен, рука в руку, мы тебе голову, ты нам деньги, на пропой души ее...

Все помолчали. Хряснули стаканы с водкой, за дело.

– Девка-то, видно, хорошая была, – загрустил Семен. – Я ведь ее хоронил. Тихая такая была. Ничего у нее не болит теперь, как у нас. Эх, жизнь, жизнь! А я свой труп уже пропил, в медицинский институт...

Встречу назначили через день, утром, у кладбища, в подъезде дома номер три – темном, безлюдном и грязном. Все часы мои перед этим были светлые-пресветлые, и только голос Тани во сне звучал тихо-тихо, даже с какой-то лаской. С нездешней такой прощальной лаской. Они ведь тоже люди, мертвецы-то. Они все понимают, все чувствуют, еще лучше нас, окаянных, хотя по-другому. Понимала она, значит, что мечты ее сбываются. Отрубят ей в могиле голову и принесут мне в мешке в подъезд. Она ведь так хотела этого, а слово мертвых – закон. И еще говорят, когда очень хочешь, то всегда сбывается. Недаром Танечка так просила, кричала почти. И еще хорошо, если бы у всех людей на земле появилось бы такое желание, как у Танечки. У всех людей, в Америке, Европе, Азии – везде, у живых и мертвых одинаково, какая сейчас разница между живыми и мертвыми – кругом одни трупы бродящие. И не топили бы головы, а сложили бы их в одну гору, до Страшного суда. Все равно не так уж долго ждать. И все попутные, обыденные страхи решились бы: никаких атомных войн, ни революций, ни эволюции... Впрочем, что о такой ерунде, как эти страхи, говорить. Думаю я, что тело, в котором

Танечка мне явилась, и на колени мои прыгнула, и ручками обняла, это и есть тело, в котором и явится, когда Страшный суд придет. А может, я ошибаюсь. Надо у Прохорова спросить: он все знает, комсорг...

Вот и наступил тот час. Я стоял в подъезде дома номер три, в темноте. В кармане – билеты, туда, за город, на реку... где же еще топить, не в Москве же реке – кругом милиция, да и вода грязная. За городом – лучше, там озера, чистая вода, холодная, глубокая, с такого дна голова Тани уже никогда не всплывет.

Семен и его помощник, как-то озираясь, дико шли ко мне, у Семена в руках болталась сумка. Я думал, что все будет более обыденно. И вдруг – какой-то внезапный страх, как будто что-то оборвалось и упало в душе... Могильщики, странно приплясывая, приближались ко мне. Семен почему-то сильно размахивал сумкой с головой, точно хотел голову подбросить – высоко, высоко, к синему небу.

Разговор был коротким, не по душам. Голова... деньги... голова. Водка.

– Вот и все.

– Взгляни на всякий случай, – проорчал Семен. – Мы не обманщики.

Я содрогнулся и заглянул в черную пасть непомерно огромной сумки. Со дна ее на меня как будто бы блеснули глаза – да, это была Таня, тот же взор, что и при жизни. Я расплатился и поехал на вокзал. Взял такси. Они мне отдали голову вместе с сумкой – чтоб не перекладывать, меньше возни. Сумка была черная, потрепанная, и, видимо, в ней раньше носили картошку – чувствовался запах. Милиционеров я почему-то не боялся, то есть не боялся случайностей. Видно, боги меня вели. Каким-то образом я влез в переполненную электричку.

В поезде было очень тесно, душно, много людей стояло в проходе, плоть к плоти. Ступить было некуда. Я боялся, что мою сумку раздавят и получится не то. Таня ведь просила утопить. Неожиданно одна старушка – ну, прямо Божья девушка – уступила мне место. Почему – не знаю. Скорее всего, у меня было очень измученное лицо и она пожалела, ведь, наверное, в церковь ходит.

Сколько времени мы ехали, не помню. Очень долго. А вот и река. Она блеснула нам в глаза – издали, такой холодной, вольной и прекрасной своей гладью. Я говорю «мы», потому что уверен, что Таня тоже все видела там, в сумке. Мертвецы умеют смотреть сквозь вещи. Правда, ни стоны, ни вздоха не раздалось в ответ – одно прежнее бесконечное молчание. Да и о чем вздыхать?! Сама ведь обо всем просила. А для чего – может быть, ей одной дано знать. К тому же Прохоров сказал, что она необычная.

И все же мне захотелось спросить Таню. О чем-то страшном, одиноком, без-дном... В уме все время вертелось: «Все ли потеряно... там, после смерти?!» Надо толкнуть, как следует толкнуть ее коленом, тогда там, в черной сумке, может быть, прошуршит еле слышный ответ... Но только бы не умереть от этого ответа... Если она скажет хоть одно слово ужаса, а не ласки, я не выдержу, я закричу, я выброшу ее прямо в вагон, на пиджаки этих потных людей! Или просто: мертво и тупо, на глазах у всех, выну голову и буду ее целовать, целовать, пока она не даст мне ободряющий ответ.

И вот я – на берегу. Никого нет. Мне остается только нагнуться, обхватить руками Танину голову и бросить ее вглубь. Но я почему-то медлю. Почему, почему? О, я знаю почему! Я боюсь, что никогда не услышу ее голоса тихого, грозного, умоляющего, безумного, но уже близкого мне, моей душе. Неужели этот холодный далекий голос из бездны может быть близок человеку? Да, да, я, может быть, хочу даже, чтобы она приходила ко мне, как в тот раз, во плоти, пусть в страшной плоти – из шкафа, из-за занавески, с неба, из-под земли, но все равно приходила бы. И садилась бы на мои колени, и что-то шептала бы. Но я знаю, этого не будет, если я выброшу голову.

Но я не могу послушаться голоса из бездны. Ах, Таня, Таня, какая-то ты все-таки чудачка...

Но зачем, зачем ты так жестоко расправилась с собой?! Сунуть мягкую шейку в железную машину! А ведь можно было сидеть здесь, пить чай у самовара. Но глаза, твои глаза – они никогда не были нежными...

Ну, прощай, моя детка. С богом!

Резким движением я вынимаю голову. На моих глазах пелена. Я ничего не вижу. Да и зачем, зачем видеть этот земной обреченный мир?! В нем нет бессмертия!

Я бросаю Танину голову в реку. Вздых, бульканье воды...

Р. С. Позже я узнал, что человек, подхлотивший к Тане перед ее смертью и что-то шептавший ей, был Прохоров.

*Рассказ написан в 70-х годах в Соединенных Штатах Америки, в которых мы с женой оказались после отъезда из Советского Союза в 1974-м, после так называемой эмиграции. Рассказ основан на столкновении, разрыве между абсолютно доказанным на протяжении истории человечества фактом существования параллельных миров за пределами чисто физического мира и нашей ограниченной способностью понять, что происходит там, где и пространство, время и субстанция (материя), совершенно иные, чем у нас. Собственно говоря, в традиционных воззрениях многое из того, что лежит по ту сторону наших органов чувств, нашего непосредственного восприятия, относительно ясно описано исходя из сверхчувственного и других форм опыта, хорошо известных с древних времен. Но при всем этом элемент непознанного, или даже непознаваемого, примитивным обычным человеческим разумом, весьма и весьма широк, в каком-то смысле даже необъятен. Тем более для современного человека, задавленного к тому же капканом так называемого научного мировоззрения.*

*В конечном итоге это столкновение двух принципиально разных реальностей и порождает в сознании человека чудовищную эйфорию гротеска и истерической реакции.*

*Все это и породило атмосферу «Утопи мою голову», с ее трагизмом и хохотом.*

*Рациональность, рацию, поправное и осмеянное, отступает, сдавая свои позиции.*

*А Танечка, героиня, девочка, продолжает свое существование, пусть и без телесной головы с ее бессмысленными мозгами. Дух и сознание, слава богу, не мозг. А мозг пусть гниет на свалке будущей истории (нового цикла) рода человеческого. Там ему на помойке и место. Одним словом, инструмент пришел в негодность.*

## Валюта

Шел 1994-й год. Зарплату в этом небольшом, но шумном учреждении выдавали гробами.  
– Кто хочет – бери, – разводило руками начальство. – Денег у нас нету, не дают. Мы ведь на бюджете. Хорошо хоть гробы стали подворачиваться, лучше ведь гроб, чем ничего.

– Оно конечно, – смущались подчиненные. – Стол из гроба можно сделать. Или продать его на базаре.

– Я никаких гробов брать не буду, – заявила Катя Туликова, уборщица. – Лучше с голоду подохну, а гробы не возьму.

Но большинство с ней были несогласные, и потянулась очередь за гробами. Выдавали соответственно зарплате и, конечно, заставляли расписываться.

– У нас тут демократия! – кричало начальство. – Мы никого не обманем.

– Гробы-то больно никудышные, – морщился Борис Порфирьевич Сучков, старый работник этой конторы, – бракованные, что ли. Ежели что, в такой гроб ложиться – срам.

– А куда денешься, – отвечала юркая энергичная девушка-коротышка. – Я уже на эту зарплату два гроба себе припасла. Случись помру, а гробы у меня под рукой. – И то правда! – кричали в очереди. – Мы свое возьмем, не упустим.

Борис Порфирьич покачал головой в раздумье. Был он сорокапятилетним мужчиной работящего вида, но с удивлением во взгляде.

В очередь набились и родственники трудящихся, ибо гробы, как известно, предмет нелегкий, и некоторым тащить надо было километров пять-шесть до дому, а кругом ведь живые люди, еще морду набьют... мало ли что.

Борис Порфирьич пришел один, без жены и сына, но с тачкой. На тачке он бы мог целое кладбище перевезти. В молодости он грешил пьянством, и тогда его папаша нередко забирал своего сына Борю из пивной на тачке. С тех пор эта тачка и сохранилась, хотя раз ее чуть не разгрызли злые собаки. Но самого Борю не тронули. Теперь тачка служила ему для перевозки гробов. Она и сама напоминала гроб, но с какой-то фантастической стороны.

Нагрузившись (гробы были дешевые, что тоже вызывало у трудового народа подозрение), Борис Порфирьич поехал домой. По дороге заглянул в пивную, опрокинул малость и продолжил путь.

Дома за чаем обсуждали гробы. Приплелся даже сосед, зоркий пожилой мастер своего дела Мустыгин.

– А нам чайниками дают! – крикнул он.

– Чайниками лучше, – умилялась полная, мягкая, как пух, Соня, жена Бориса Порфирьича. – Как-то спокойней. Все-таки чайник. А тут все же тоскливо чуть-чуть. Вон сколько накопилось их, так и толпятся у стены, словно пингвины.

– Чего страшного-то, мать! – бодро ответил сынок ихний, двадцатилетний Игорь. – Бревно оно и есть бревно. Что ты умничаешь все время?

– Брысь, Игорь, – сурово прервал его Борис Порфирьич, – щенок, а уже твякаешь на родную мать!

Между тем Мустыгин осматривал гробы.

– Гробы-то ношенные! – вдруг не своим голосом закричал он.

– Как ношенные?! – взвизгнула Соня.

– Да так! И использованные. – Мустыгин развел руками. – Порченные, одним словом. Изпод покойников. Что, я не вижу? Да и нюх у меня обостренный. Я их запах, мертвецов-то, сразу отличу...

– Не может быть, – испуганный Сучков подскочил к гробам. – Вот беда-то!

– Горе-то какое, горе! – истошно зарыдала Соня.

- Молчи, Сонька! Я до мэра дойду! – И Сучков близоруко склонился к гробам. Мустыгин покрякивал, поддакивал и все указывал рабочей рукой на какие-то темные пятна, якобы пролежни, а в одном месте указал даже на следы, дескать, блевотины.
- Первый раз слышу, чтобы покойники блевали, – взвилась Соня. Сын ее, Игорь, в этом ее поддержал. Но Сучков-отец думал иначе.
- Просто бракованные гробы, – заключил он. – Как это я не заметил!
- А если блевотина? – спросил Игорь.
- Могли ведь и живые наблевать, – резонно ответил Сучков. – С похмелюги и не то бывает. Ну, забрели, ну, упали... Подумаешь, делов-то.
- Да почему ж блевотина-то? – рассердилась Соня. – Что она, с неба, что ли, свалилась?
- Тише, тише, – испугался Мустыгин, – не хамя.
- А во всем Костя Крючкин виноват, – зло сказал Борис Порфирыч. – Он выдавал зарплату. И подсунул мне запачканные. Друг, называется! Предал меня!
- Да он тебе всегда завидовал, – вставила Соня. – Из зависти и подсунул.
- Обидно! – покачал головой Мустыгин. – Гробы должны быть как надо... Это же валюта, – и он вытянул губу. – Раз вместо зарплаты. К тому же международная! Везде ведь умирают – на всем земном шаре.
- Я этого Коське никогда не прощу, – твердо и угрюмо заявил Борис Порфирыч. – Морду ему вот этим облеваным гробом и разобью.
- Обменяй лучше. По-хорошему, – плаксиво вмешалась Соня. – Зачем врага наживать? Он тебе это запомнит.
- Конечно, папань, – солидно добавил Игорь.
- Скажи, что, мол, ты, Костя, обшибся, – трусливо заволновалась Соня. – Со всяким бывает. И давай, мол, по-мирному. Сменяй гробы, и все тут. Эти ведь не продашь, даже самым бедным... Только гроб ему в харю не суй, слышь, Боря?
- Ну, что поделаешь! Сегодня уже поздно, а завтра суббота, – пригорюнился Сучков. – Как неприятно! Вечно у нас трудности. И в профсоюзе я скажу, чтоб ношенными гробами зарплату не выдавали. Наше терпение не бесконечно.
- Все опять сели за стол.
- А может, спустишь гроб-то тот самый, бракованный? – заметалась Соня, подперев пухлой ладонью щечку. – А что? Я вот слышала, у Мрачковых только-только дед помер. Они бедные, где уж им нормальный гроб купить. Сбагри им. А с Крючкиным лучше не связывайся, что ты – не видишь человека? Да он тебя живьем съест, при первом удобном случае...
- Все равно отомщу, – прорычал Сучков.
- И на следующий день пошел продавать тот самый подержанный и, возможно, даже облеваный гроб. К Мрачковым зашел быстро – не зашел, а забежал...
- Дед-то помер, Анисья! – с порога закричал Борис Порфирыч.
- Все знают, что помер.
- Ну вот, я с помощью к тебе. Хороший гроб по дешевке отдам! А то жрать нечего. Зарплату гробами нам выдают.
- Слышала.
- Ну, раз слышала, так бери, не задерживайся.
- Сучков действовал так резко, нахраписто, что Анисья Федоровна в конце концов поддавалась.
- Возьму, возьму, – хрюкнула она, – только денег нет. Может, возьмешь чайниками?
- Я тебя, мать, стукну за такие слова, – рассвирепел Сучков.
- Чего меня стукать-то? – защищалась Анисья. – Денег ведь все равно нет. Стукай, не стукай.
- Сучков сбегал домой.

– Бери, Боря, бери! – увещевала его Соня. – Не будь как баран. Все-таки чайник лучше, чем гроб. Спокойней. Уютней. Еще лучше – возьми самоварами.

– Какие у нее самовары...

– Все равно бери.

Сучков позвал сына. Вдвоем дотащили гроб, перли через трамвайные линии, сквозь мат и ругань людей. Тачку не использовали, несли на своих.

Мрачковы встретили гроб полоумно.

– Какой-никакой, а все-таки гроб, – сказала сестра Анисья. – Гробы на улице не валяются. Фу, целая гора с плеч.

Сучков набрал мешок чайников: но почти все какие-то старенькие. Правда, были и полунновые. Сухо распростившись с Анисьей, Сучков (сын еще раньше убежал) с мешком за спиной направился к себе. По дороге выпил, и половина чайников разбилась. Мрачковы гробом остались довольны.

– Выгодная сделка, – решили они.

А вот Борису Порфирьичу пришлось выдержать сцену.

– Чайники-то побитые почти все, – взвизгнула Соня. – Это что же, им побитыми чайниками зарплату выдавали? Не ври!!!

Сучков нахмурился:

– Анисья сказала, что давали новые, но они сами со злости их побили. Да и я разбил штуки две, пока пил с горя. Не тереби душу только, Сонь, не тереби!

Соня присмирела:

– Ладно уж, садись кашку овсяную поешь. Ничего больше в доме нет. А то ведь умаялся.

Сучков покорно стал есть кашу. Соня пристально на него смотрела. Сучков доел кашу, облизал ложку.

– Боря, – вкрадчиво начала Соня, – мне кажется, Мустыгин преувеличил. Я все наши гробы подробно облазила. Ну, правда, тот, что ты сбаврил, был действительно облеваный. А остальные – ни-ни. Чистые гробы, как стеклышко. Один только – да, попахивает покойником и вообще подозрительный.

– Какой?

Соня показала глазами на гроб, стоящий около обеденного стола.

– Его бы хорошо тоже поскорей сбаврить, – продолжала Соня, попивая чай. – Неприятно, правда. Может быть, покойник был какой-нибудь раковый или холерный. Завтра выходной – снеси-ка на базар втихую, незаметно. Хоть на кусок мяса сменяй.

– Да куда ж я его попру на базар?! – рассердился Сучков и даже стукнул кулаком по тарелке. – Что я тебе, новый русский, что ли, все время торговать и барышничать?!

– Ой, Боря, не ори! Подумай, что исть-то будем завтра? Даже хлеба нет.

Сучков задумался.

– Вот что, – сказал он решительно. – Надо к Солнцевым пойти. Немедленно.

– Так у них же гробов полно! – Соня раскрыла рот от изумления.

– «Гробов полно»! – передразнил Сучков. – Без тебя знаю. Но они их приспособили. Вся квартира в гробах, и все пристроены – по делу. Даже корытника своего порой в гробу купают, говорят, что это, дескать, для дитя полезно. Может, и наш приспособят. Один у них гроб – как журнальный столик, другой – для грязного белья, третий почему-то к потолку привесили, говорят: красиво.

– Ну что ж, сходи.

Сучков как помешанный вскочил с места, поднял гроб, что у обеденного стола, на спину и побежал.

Соня осталась одна. Игорь давно исчез куда-то. «Наверное, только ночью придет, – подумала она. – Кошка и та куда-то пропала».

На душе было тревожно не оттого, что назавтра есть ничего не осталось, а от какого-то глобального беспокойства.

– Хоть не живи, – решила она. Но тут же захотелось жить.

Борис Порфирьич пришел через полтора часа. С гробом. Еле влез в дверь.

– Ну, что?! – вскрикнула Соня.

– Морду хотели набить. Ихняя дочка четырнадцати лет так орала, всех соседей всполошила. Дескать, она уже и так вместо кровати спит в гробу, и ей это надоело! «Что нам из гроба, толчок теперь, что ли, делать, – кричала, – хоть папаня на все руки мастер, но хватит уже!» И мать ее поддержала. Как медведица ревела.

Соня вздохнула:

– Слава богу, что ноги унес.

– Так бы ничего, но гроб какой-то нехороший. Избавиться бы от него. Остальные я на неделе обменяю на картошку. Знаю где, – проговорил Борис Порфирьич, садясь за стол. – У самого Пузанова. У него картошка ворованная, он ее на что хошь обменяет. Ворованного он никогда не жалел.

– Да проживем как-нибудь. Игорь уже сам себе пропитание добывает. А что, иначе помрешь. Не до институтов. Но вот гроб этот какой-то скверный...

– Что ты привязалась к нему? Гроб как гроб. Ну да, паршивый. Ну да, бракованный. Но все-таки гроб. Гробы в пивной не валяются. Все-таки ценность.

Соня посмотрела вглубь себя:

– Да ты понюхай его еще раз, Боря. Какой он?

– Ну ладно. Из любви к тебе – понюхаю, так и быть.

Сучков подошел к гробу и стал его обнюхивать и проверять. Даже выстукивать.

– Не стучи – черт придет, – испугалась Соня.

– Сонь, ведь запах от покойника не может так долго держаться. Ну, допустим, пустили этот гроб налево, – наконец сказал Сучков, – но небось почистили его от предыдущего мертвеца-то, да запах и сам должен пройти, ведь не сразу же его из-под покойника – и на зарплату? Запах должен пройти.

– Должен. А вот этот не проходит, – заупрямилась Соня. – В том-то и подозрение. Почему запах трупа так долго держится? Неужели ты не чувствуешь?

– Кажется, чуть-чуть, – остоленело проговорил Сучков.

– Не кажется и не чуть-чуть, – решительно ответила толстушка Соня, подходя к гробу. – Я тебе скажу прямо, Боря, как бы тебе это ни показалось сверхъестественным: от этого гроба прямо разит мужским трупом. Вот так. Я женщина и завсегда отличу по запаху мужской труп от нашего, бабьего.

– Заморочила! – вскрикнул Борис Порфирьич. – Не хулигань, Соня. Гроб, скажу резко, дерьмо, а не гроб, но трупом почти не пахнет. Что ты законы химии нарушаешь?

– Останемся каждый при своем мнении, Боря, – спокойно ответила Соня. – Пусть Игорь придет и понюхает. Он человек трезвый.

– Он по уму трезвый, а придет пьян. Чего он разберет? Давай лучше в картишки сыграем, – предложил Сучков.

И они сыграли в картишки.

Темнело уже; Соня поставила самовар, достала из-под кровати запас сухарей. Кошка не приходила. Часам к восьми постучали. Борис Порфирьич открыл. Всунулось лицо Мустыгина.

– К вам гость, Соня, от дядюшки вашего.

– От Артемия Николаевича! Из Пензы! – вскрикнула Соня.

Из-за спины Мустыгина появился невзрачный старичок, рваненький, лохматенький, совсем какой-то изношенный, потертый, весь в пятнах.

– Проходите! – откликнулась Соня.

Сучков вопросительно посмотрел на жену.

– Да, дядюшка всегда был чудной, – рассмеялась Соня. – И люди вокруг него были чудные. Вы проходите, старенький!

Старичок оглянулся, высморкался. Мустыгин исчез за дверью: ушел к себе.

– Отколь ты такой, дед? – немножко грубовато спросил Борис Порфирьич.

Старик вдруг бросил на него взгляд из-под нависших седых бровей, сырой, далекий и жутковатый. И вдруг сам старичок стал какой-то тайный.

Соня испугалась.

– Из того гроба я, – сурово сказал старик, указывая на тот самый пахнувший гроб.

Супруги онемели.



– Мой гроб это. Я его с собой заберу.

И старик тяжело направился к гробу.

– Чужие гробы не надо трогать! – жестко проговорил он и, взглянув на супругов, помахал большим черным пальцем.

Палец был живее его головы.

Потом обернулся и опять таким же сырым, но пронизывающим взглядом осмотрел чету.

– Детки мои, что вы приуныли-то? – вдруг по-столетнему шушукнул он. – Идите, идите ко мне... Садитесь за стол. Я вам такое расскажу...

Сучковы сели.

Наутро Игорь, трезвый, пришел домой. Дома не оказалось ни родителей, ни гробов. Все остальное было в целости и сохранности. Потом появилась милиция.

Супруги Сучковы исчезли навсегда.

*Веселый рассказ. Основан на фактах сообщения в газете о выдаче зарплаты в форме гробов. Насколько помню, гробы выдавались школьным учителям. Дело происходило в провинции, в середине 90-х годов.*

*Впрочем, сюжет рассказа был задуман до того, как я прочел о факте гробоплаты. Трудно порой определить, когда литература опережает жизнь, когда они (литература и жизнь) идут параллельно, рука об руку.*

*Но в рассказе, как всегда в литературе, речь идет не только о фактах, но, главным образом, о внутренней, порой скрытой от глаз, жизни людей.*

*Кроме того, в «Валюте» мы (читатели – я уже выступаю в роли читателя) находим намек: заигрывание с гробами может плохо кончиться для игрока, а может быть, и для его близких.*

## Доигрались

Роман Зяблев и Зайцева Тоня, молодые и свободные люди, жили себе в не менее свободном браке. Сдавали престижную квартиру, доставшуюся им по наследству, и не тужили. Подрабатывали художественной фотографией.

Веселая жизнь текла как Ниагарский водопад. С утра раздавались телефонные звонки и сыпались приглашения на самые разнообразные тусовки. Мелькали лица, лилось вино, ошеломляла музыка.

Но не только на банальные тусовки тянуло их. Тонечка, более чувствительная ко всему неизвестному, чем сам Роман, водила его на мрачовки. Так называла она тихие посиделки на кладбищах в компании двух-трех самых интимных друзей. Среди них Тонечка особо выделяла некоего Артура Каркова, молчаливого субъекта лет тридцати с лишним. Иногда, впрочем, он изрекал что-то непонятное, и Тонечка любила его за таинственность. Появлялся он внезапно и также внезапно исчезал.

Кроме мрачовок Тоня и Роман забегали и на лекции, если тема была пара-нормальные явления. Особенно впечатлились они одной лекцией, где на основе современных научных теорий показывались возможности выпадения из настоящего в прошлое или даже в грядущее. Роман особо надеялся, посмеиваясь, попасть на какую-нибудь тусовку в далеком будущем. Кстати, на лекции объяснялось, что такое выпадение во времени случается совершенно неожиданно, спонтанно, и не зависит от воли человека, ибо происходит это по причинам глубинным, даже космологическим. И приводились случаи из западных исследований, посвященных этой теме.

На таких лекциях неизменно возникал Артур и тут же куда-то пропадал. Однажды, подмигнув Тонечке, он затащил свободных супругов на сеанс черной магии. Ни Тонечка, ни Роман ничего не поняли, что там происходило, ибо попали на этот сеанс изрядно выпившими.

И еще два раза их заносило поздно вечером «на магию», как они выражались, в неприютную и незаметную квартирку на окраине Москвы. Всегда, конечно, в сопровождении Артура. Но поскольку за день Роман и Тонечка обычно посещали два-три мероприятия, то понять ночную «магию» уже не хватало умственных сил. Тонечка только нервно хохотала, когда совершался ритуал вызова душ умерших людей.

Потом посещения такого рода прекратились, но у Зайцевой возникала паранормальная особенность: приступы смеха у нее (она ведь была хохотушкой) неожиданно и нежданно кончались слезами. Заплачет себе – и полный тупик. На тусовках-то не принято плакать. Приходилось убегать в клозет и там давать волю слезам.

Ничего ее не спасло от этой странности, даже купленный Романом, хоть и подержанный, но достойного качества автомобиль. Зайцева почему-то боялась на нем ездить и предпочитала свою старую, потрепанную в ДТП машину.

И такое состояние все продолжалось и продолжалось. То ее глаза горели неестественным счастьем, то наполнялись слезами жалости к себе. Роман подумывал, что она немного чокнулась, но он и сам не любил абсолютно нормальных людей. «Скукой от них веет сверхъестественной», – говорил он позевывая.

И так текла жизнь. Но однажды летним свеженьким утром они решили не бежать сломя голову неизвестно куда, а просто прогуляться в соседнем парке.

Шли они рядышком по дорожке, как истинно-влюбленная парочка, отдыхая душой. Кругом – безлюдно. Вышли на большую поляну и увидели заброшенный домик, которого раньше никогда почему-то не примечали. Заинтригованные, они вошли в дом и подошли к странному, необычной формы, окну.

И вдруг – как гром с неба, как видение в пустыне. Перед ними раскрылся дикий пейзаж явно из далеких времен прошлого. Голый мамонт, увязший в болоте, пещерные люди, убивающие его, и вдалеке таинственные горы в дыму.

Роман остолбенел, словно превратился в камень. А Тонечка закричала:

– Какой ужас! Мы попали в прошлое! Что же делать, неужели отсюда нет выхода?!

Но одна мысль, как свет надежды, пронзила ее. Она вспомнила, как на лекции говорили, что в некоторых случаях такое выпадение было временным и ошеломленные путешественники возвращались назад в свой мир.

*Нельзя заигрывать с черной мессой. Плохое это явление для шуток.*

*Правда, и герой, и героиня даже не заметили, что присутствуют на таком зрелище. Мало ли чего показывают. Они просто гуляли по жизни. Видно, были не осведомлены. И вдруг такой удар. Надо же, увидеть демонов с собственными лицами.*

*Тут увидишь обычного своего двойника – и то испугаешься. А ведь присутствие демонов – такое почувствуют самые тупые люди. Есть от чего сойти с ума. И все-таки что символизирует такой конец?*

*Намек на то, что черти созревают в них самих. Тихо так и спокойно пока. Что они сами – будущие... Поставим многоточие.*

*А может, просто посмеялись над героями, приняли их вид, чтобы развеселить и напугать. Одним словом, демоны-то не без юмора.*

*Можно судить и так и эдак. И все это будет неверно, потому что судим с человеческой точки зрения.*

*А демонический ум совсем-совсем иной. Его и умом в нашем понимании нельзя назвать. И не узнаем мы никогда, что эти существа задумали и что они этим хотели сказать.*

*А героев рассказа очень жаль. Ну и влипли же они в конце концов!*

*Рассказ написан в 2005—2006 году.*

## Жизнь есть сон

Вася Пивнушкин всю свою трудовую жизнь обожал пиво. Он и сам не знал, почему он отдавал предпочтение такому нежному алкогольному напитку – другие, например, тихо склонялись к водке или к коньяку в худшем случае.

Пивнушкин пытался все-таки объяснить свое пристрастие и не раз рассуждал об этом с Толей Угрюмовым, которому, между прочим, было все равно, что пить: даже от водопроводной воды Толя Угрюмов хмелел, как все равно от зверобоя.

Вася же однажды в пивном летнем баре совсем распустился перед Угрюмовым.

– Толя! – говорил он ему. – Вот ты дня два подряд водку глушишь целыми литрами, а потом неделю пьешь воду из-под крана – и все равно все время пьяненький. Слава тебе!

Угрюмов снисходительно процедил тогда:

– Ну, с этого я только начинал, Вася... А потом я уже, бывало, всего двадцать четыре часа, круглые сутки то есть, лакаю водку, а потом месяц пью водопроводную воду... и пьян всегда. Так-то.

– Но ты пойми и меня, – завыл в ответ Вася, – для меня опьянение не так уж много значит без удовольствия. Прямо скажу: без наслаждения... А от водки, да еще сивушной, какой смак? Другое дело – пиво. Ты только пойми, я тебя не хаю, ты, Толя, гений, в натуре, ты у нас воду из-под крана в водку превращаешь!.. Я спрашивал тут у интеллигентов, так они говорят, что даже великие алхимики Средних веков такое не вытворяли... Но ты, Толя, человек смиренный, бестщеславный, о тебе ведь песни люди должны складывать, а ты знай себе хлебаешь воду и пьян днем и ночью. Мне до тебя расти и расти... Но ты и меня, мышонка, пойми...

Угрюмов пошевелил ушами в этот момент и прошипел:

– А в чем же я должен понять тебя, Вася? Если я вещество воды могу превращать в водку, так почему ты думаешь, что я должен напрягаться, чтобы понять тебя?

Вася даже отшатнулся от таких речей: разом выхлебнул из огромного пивного вместилища пол-литра крепкого чешского пива.

– Да я разве тебя опровергаю, Толя? – рыдающе проголосил Вася. – Я тысячу раз, хоть перед концом мира, повторю: ты – талант. Никому еще на Руси не удавалось превращать воду в водку. А ты гений вдвойне: потому что ты сделал это – и молчишь. Молчишь из любви к стране, чтоб секрет не открылся и страна бы не спилась.

Тогда Толя Угрюмов одобрительно кивнул головой и чуть-чуть глотнул пивка. (До этого он уже проглотил два литра воды из-под крана.) Вася даже не ожидал, что он стал такой равнодушный к пиву.

– Так вот, Толя, ты только пойми одно, – и Вася Пивнушкин преобразился вдруг духовно, – когда я пью водку – для меня это отравка, когда я пью пиво, хоть литрами, – наслаждение. Результат один – опьянение. Все-таки конечный смысл – забыть, пьянство, хоть от воды из-под крана, хоть от крепчайшей водяры (и Вася многозначительно кивнул в сторону соседнего столика, где распивали третью бутылку водки). А что такое опьянение? Это значит – проклятие обыденной жизни, уход от нее, уход куда-то, где хорошо. Ты согласен?



Угрюмов крикнул:

– В принципе согласен. Уйти в другой мир – это главное в пьянстве. Потому что этот основательно поднадоел: деньги, хворь, комета, мордобитие, конец мира, бандиты.

– То-то и оно, Толя, – болезненно проговорил Вася, выпив для смелости еще одну кружку жизнерадостного темного пивка. – Но ты не учел одного – наслаждения. Когда пьешь пиво, ты

имеешь не только опьянение, но и наслаждение в животе, в каждой жилочке, везде. А когда пьешь горькую – хлобыстнул пол-литра, и ты сразу на небесах. А наслаждение – миновал. Понимаешь, к чему я клоню, Толя?

Угрюмов помолчал задумчиво и ответил:

– На это не наша воля.

Пивнушкин почернел и выговорил:

– Не понял.

Тогда Угрюмов пояснил:

– Пора со всем этим кончать.

Пивнушкин изумился еще более:

– А теперь, Толя, я тебя уже совсем не понимаю. С чем кончать? Неужто уж с водой из-под крана?

– С водопроводной водой мы никогда не кончим, Вася, – холодно ответил Угрюмов. – А вот с пивом пора кончать.

Друзья вышли из пивной. Куда же теперь идти? К смерти? К жизни? К жене? К родной матери? Было непонятно.

Внезапно друзья расстались. Угрюмов увидел вдруг – где-то в стороне бесхозный водопровод и стремглав понесся в том направлении, помахав Пивнушкину кепочкой.

Вася же продолжил путь сам не зная куда. Шел он и шел. И нигде пивка не нашел более. Проходил он мимо ларьков (уже заколоченных), мимо ресторанов (но шибко шикарных), пока не вышел, наконец, на мост.

И застыл на мосту. Посмотрел вниз – там бездна, без дна почти, значит.

– Вот она жизнь, – подумал Вася.

И решил помочиться, поскольку опять потребность в этом возникла. Ничего тут, в конце концов, ни сверхъестественного, ни необычного не было: после четырех литров пива каждому захочется отлить, и не раз.

Встал он, родимый, у края моста и стал мочиться вниз, как эдакий бесстрашный кавалер.

А потом случилось то, что и описать почти невозможно, – настолько это здравому уму непостижимо. Иными словами, сгорел Вася на корню. Верная струя мочи его, бедолаги, соприкоснулась с оголенными и не в меру напряженными электропроводами какими-то, что были протянуты под мостом. А моча, как всем известно, та же вода, правда, не превращаемая в водку. Наилучшим, одним словом, оказалась Васина моча электропроводником.

Последствия произошли в течение секунд – Вася вспыхнул на месте, застыл, можно сказать, изнутри.

Так, сгоревшего, и похоронили.

И что же после этого от него осталось? Несомненно, одинокая душа. Но что такое душа? Да уж, если точнее, просто сном все это оказалось – и то, что Вася жил когда-то, пил, мочившись, и то, что Вася умер.

Вопрос только в одном: кому все это снилось?

## **Прикованность**

### **(Рассказ тихого человека)**

Почему все это произошло именно со мной, мне попытался объяснить один щуплый, облеваный чем-то несусветным старичок, отозвавший меня для этого за угол общественного туалета, во тьму. Он прошептал, что мой ангел-хранитель сейчас не в себе и ушел странствовать в другие, нелепые миры. От этого-то я и не могу никуда двинуться.

А началось все с того, что мне рассказали одну сугубо телесную историю.

Жила на свете некая Минна Адольфовна, серьезная врачиха и весьма полная баба. Жила она одна, но без мужа не была, потому что денег получала уйму. Любила жить в чистоте, широко и от внешнего бытия брать одни сливки. Было ли у нее что-нибудь внутреннее? Кто знает. Но один ее любовник говорил, что она могла неслышно икать, вовнутрь себя, распространяя смысл этого икания до самого конца своего самобытия.

Так вот, недавно ее разбил паралич, причем почти намертво, так что она лишилась дара речи, всех серьезных телодвижений, какой-то части сознания и лежала на кровати безмолвная. Говорили, что она так может пролежать лет пятнадцать. Пенсию она стала получать большую, и так как была совсем одинока, то назначили к ней от ее учреждения нянечек, которые тихо и покойно подбирали за ней дерьмо, меняли обмоченные простыни, кормили чем бог пошлет.

Через месяца два ее в прошлом богатенькая комната стала почти пустой, так как нянечки и медсестры все обобрали, а Минна Адольфовна могла только молча за этим наблюдать...

Я выслушал эту историю где-то в пригороде, на окраине, в грязном замордованном сквере, поздно вечером...

Отряхнувшись, я пошел к далекому, невзрачному столбу, и в небе передо мной встал образ Минны Адольфовны, обреченной одиноко лежать среди людей пятнадцать лет. «Ку-ка-реку!» – громко закричал попавшийся мне под ноги петух.

И вдруг вся тоска и неопределенность жизни перешли в моем сознании в какое-то неподвижное и неприемлющее остальной ужас решение. Я уже твердо знал, что пойду к Минне Адольфовне и буду ходить к ней каждый день, из года в год, тупо проводя около нее почти всю свою жизнь.

Вскоре я уже нелепо стучался в ее дверь, соседка впустила меня, и я увидел почти голую комнату – сестры милосердия вывезли даже мебель, – в которой были, правда, одна кровать с Минной Адольфовной, тумбочка, гитара и ночной горшок. Минна Адольфовна могла делать только под себя, в судно, и ночной горшок стоял вечно пустой, как некое напоминание.

Я остался вдвоем с Минной Адольфовной, но стоял около двери, у стены. Она сонно и животно смотрела на меня остекленевшими глазами. Я не знал, что делать, и внезапно запер дверь. Подошел к ней поближе и вдруг похлопал ее по жирному, огромному животу. Она не испугалась, только челюсть ее чуть отвисла, видимо от удовольствия.

– Ну что ж, Минна Адольфовна, начнем новую жизнь, – закричал я, бегая по комнате и потирая руки. – Начнем новую жизнь!

Но как нужно было ее начинать?!

Я сел в угол и начал с того, что просидел там три часа, неподвижно глядя на тело Минны Адольфовны.

А за окном между тем медленно опускалось солнце. Его лучи скользили иногда по животу Минны Адольфовны. А серая тьма наступала откуда-то сверху. Вдруг Минна Адольфовна с трудом чуть повернула голову и уставилась на меня тяжелым, парализованным взглядом.

Я почувствовал в ее глазах, помимо этой тяжести, еще и смутное беспокойство и попытку объяснить себе мое присутствие. Она знала, что у нее больше нечего красть, и боялась, по видимому, что теперь ее будут есть. (Говорили, что одна юркая старушка, кормя ее, пол-ложки отправляла себе в рот.)

Наконец в ее глазах не осталось ничего, кроме холодного любопытства. Потом и оно уснуло. Она уже смотрела на меня мутно, нечеловечески, и я отвечал ей таким же взглядом. В конце концов встал, зажег свет.

Она издала слабое «ик», больше животом.

И вдруг она подмигнула мне большим, расплывающимся глазом. Мне показалось, что она захлопнула меня в свое существование.

Вскоре я бросил работу, жену, карьеру, потом порвал все душевные связи...

И с тех пор уже десять лет каждый день я прихожу в эту комнату, расставаясь с ней только на ночь. Минна Адольфовна подмигивает теперь только безобразной черной мухе, ползущей у нее по потолку.



Но я не обижаюсь на нее за это. Мы по-прежнему смотрим друг в друга. Я навсегда прикован к ее существованию. Иногда она кажется мне огромным черным ящиком, втягивающим меня в свою неподвижность.

Откуда эта странная прикованность?

Я понял только, что она спасает меня от этого мира: я потерял к нему всякий интерес, раз и навсегда, как будто черный ящик может заменить самодвижение. Но она спасает меня и от потустороннего мира, потому что и в нем есть движение. Я ушел от всех миров в эту прикованность, точно душа моя прицепилась к этому застывшему жирному телу.

Почему же иногда Минна Адольфовна плачет, в полутьме, невидимо, внутрь себя, словно в огромный, черный ящик на миг вселяются маленькие, светлые ангелы и мечутся там из стороны в сторону?

Неподвижность, одна неподвижность преследует нас.

Иногда, в моменты тоски, мне кажется, что Минна Адольфовна – это просто тень, тень от трупа моей возлюбленной.

Но постепенно у меня становится все меньше и меньше мыслей. Они исчезают. Одна неподвижность сковывает мое сознание, и все существование концентрируется в одну точку.

И, возможно, меня точно так же разобьет паралич и полностью обезмолвит, на десятилетия, на всю жизнь. И я уже знаю, что какой-то влажный от ужаса, взъерошенный молодой человек с сонными глазами наблюдает за мной.

Он ждет, когда меня разобьет паралич, чтобы точно так же присутствовать в моей комнате, как я присутствую в комнате Минны Адольфовны.

*Небольшой рассказ, написанный в 60-е годы, в Москве.*

*При чтении на Южисинском он производил соответствующее впечатление.*

*Слишком много есть в каждом из нас неизвестных играющих сил – цитирую гениального Блока. Эти неизвестные, да еще играющие, силы и приковали нашего героя к животу умирающей, к ее последнему существованию в этом мире. Приковали созерцать, видеть, любить и ужасаться.*

*А почему, да какие это силы – все это закрыто черной занавесью.*

## Мудрость мира

У Николая Николаевича пропал нос. Точнее, пропал сам Николай Николаевич, а нос, напротив, остался. Жена Фрося, простая, но неглупая женщина лет сорока, очнулась от сна довольно рано. В сновидении своем она видела все время себя и потому дико кричала матом среди ночи. Ей казалось, что у нее выросла третья грудь. Потом уже пришла в себя. Смотрит: рядом пусто. Мужа в кровати – нет и нет. Посмотрела на часы – шесть утра: куда же муж-то делся?

Одурев, но почувствовав, что это жизнь, а вовсе не сновидение, пошла искать. Искала долго, по клозетам, углам и занырам в их одинокой двухкомнатной квартире.

«Может, ушел выпить», – подумала. Но муж с раннего утра никогда не пил: брезговал, храня себя.

Фрося закурила. «Ума не приложу», – подумала. Вдруг екнуло в голове: а может, ума и не надо?

И тут же завизжала, так что упала щетка, стоявшая в углу.

Перед ней на тумбочке, на кружевном платочке, лежал, вернее, стоял, неподвижно и хмуро, нос Николая Николаевича. Она сразу его признала: и развесистый прыщ был на месте, и красноватость над левой ноздрей – все было как при жизни. Но нос был точно срезан, а Николая Николаевича не было.

Фрося грохнулась на пол. Очнулась (сновидений во время обморока не было) через четверть часа. Глаз открыла только один из страха перед действительностью. Но увидела опять тот же нос, и точно в том же положении.

Фросенька решила, что у нее есть только два выхода – или умереть, или просто плюнуть и принять жизнь какая есть. Она склонилась к последнему. Подошла к носу и задумалась. Внутри было уже алое сознание, какое не проявлялось раньше.

«Смахнуть бы его к черту, – подумала Фрося. – Ишь, уже сопливый. А пыли-то на ем сколько!»

Она никак не могла объединить факт (то есть нос) и действительность. «Ежели бы Николая Николаевича зарезали, а носище оставили, я б проснулась. Я вообще на кошмары чуткая», – решила Фрося.

Это было ее последнее логическое усилие. После этого логика навсегда покинула ее. Заглянула под кровать, нет ли трупа. Вообще Фрося не так уж любила мужа, чтоб смертельно переживать, и если бы не нос, то на исчезновение остального она бы махнула рукой. Ну, конечно, немного поплакала бы, не без того...

Но нос сидел гвоздем в мозгу.

Ледяной ужас прошел по ее жирному телу, когда она вдруг услышала, что в комнате, где лежал нос, явственно чихнули.

Ее объял такой страх за себя, что, схватив почему-то сумку с деньгами, она истерически выбежала из квартиры, туда, к солнцу, в мир, к Божеству...

– Если уж они чихнули, – бормотала она, трясясь, сбегая с лестницы, – то и убить могут, нос-то без головы.

Вышла на улицу и вздохнула во всю родную толстую грудь. «Хорошо, – решила она, – но надо выпить. Иначе не переживешь. Черт с ним, с Николаем, раз он от носа отказался. Хоть милицию вызывай».

Быстро прихватила водочки. «Для свадьбы, сынок», – опасливо сказала она молодому продавцу, посматривая на его нос.

Пила в подворотне, прямо из горла, грамм сто сразу выпила и, почувствовав в утробе утешение, умилилась.

«Я еще не сумасшедшая, – почему-то подумала она, упрятав водяру в сумку. А вот теперь по-настоящему хорошо... Брюшко у меня больно нежное... а нос? Тот нос?»

В недоумении радостно-мрачном поехала Фрося на трамвае сама не зная куда. Для уюта чуть-чуть отхлебывала из бутылки. Уже наступал рабочий день. И вдруг ее пронзила мысль: а мужа-то нет, нету, один нос остался.

Что делать!!! Что делать?!! Кого целовать? Кому звонить, куда писать?!

И решила позвонить Нюре – любовнице Николая Николаевича. Нюра уже лет пятнадцать была любовницей Николая Николаевича, а Фрося была за ним замужем всего лет десять. И Фрося уже как-то привыкла к такому положению. Сама не зная почему, терпела где-то Нюру, как почти родную сестру.

Нюрка, такая же пышная толстуха, как и Фрося, подошла к телефону не сразу, валялась на своей перине.

Обрадовалась, услышав Фросин голос, и тут же спросила:

– Как наш-то?

– Пропал.

– Куда пропал?

– Не знаю. Один нос остался.

– С носом?

– Не с носом, а нос от него один остался, – дико завизжала вдруг в трубку Фрося. – Понимаешь, дура, один нос на тумбочке стоит, и больше ничего...

Нюра, однако, была жалостливая и, решив, что Фрося от тайной ревности сошла с ума, сказала, что надо встретиться немедленно и обсудить. Встретились на трамвайной остановке.

– Ты хоть меня любишь, Нюрка, – зарыдав, бросилась Фрося ей на шею.

Нюра ошалела:

– Ты объясни толком, куда что делось и что с тобой.

– Нюр, да ты мне не поверишь, подумаешь, я с ума сошла, давай вместе поедem, и ты сама посмотришь на его нос.

– Давай. Дуреха, а у нас плоть ведь одна, потому что Коля тоже один. Я тебя как сестру люблю. А сколько лет вражды зазря было?! А?! Поедем-поедем и все разрешим.

Нюра беспокойно оглядела Фросю. Доехали благополучно, порой от страха целуя друг друга. У Фроси, когда открывала дверь, явственно дрожали пухлые ручки. Ее дрожь передалась Нюре.

Толстухи осторожно вошли в квартиру. Везде была мертвенно-дикая тишина, но вещи были на местах. А вот носа не оказалось.

– Где нос-то? – разочарованно пискнула Нюра. Фрося огляделась, облегченно вздохнула, потом открыла дверь в столовую и замерла – нос был уже в столовой, на буфете, среди кофейных чашек, на виду.

– Умру!.. – завизжала Фрося.

Нюра подскочила и, обняв ее, воткнула взор в нос. По твердости характера она не упала.

– Что будем делать-то?! – закричала Нюра.

– Разума больше нет, вот что, – ответила Фрося и чуть-чуть побелевшими глазами посмотрела на подругу. – Если признать, что разума нет, то ничего, жить дальше можно, Нюр.

– Ха-ха-ха! – Нюра залилась истеричным смехом. – Я понимаю тебя. Но нос-то Николая? Давай поближе посмотрим.

– Боюсь.

– Думаешь, чихнет?

– Думаю. Он уже чихал.

Нюра взбесилась:

– Давай не думать, Фрось. Что толку в раздумии-то? Ну, что его зарезали, а нос оставили на память – это же бред. Значит, и все бред. Пойдем чай пить. Ну, чокнулись мы с тобой вместе от любви к Николаю, вот Господь нос и пожалел, один нос его оставил. Что толку от раздумий, что ни есть, все к лучшему, Фрось!

Фрося вдруг как-то даже оживилась:

– Я, Нюрк, только при ем пить не буду. Лучше в кухне поьем.

Толстушки вошли в кухню и стали хозяйничать. Мигом на столе оказался пузатый расписной русский чайник, с цветочками чашечки и деревянные ложки для меда, как в деревне, самовар, к тому же чай был душист, а когда Фросенька вынула из сумочки водочку, Нюра совсем расплылась от добродушия.

– Что мы, две гусыни, можем понять о мире? Ничего! – умилялась Нюра, хлобыстнув рюмочку блаженного напитка. – Ну, пропал муж и любовник, а дальше-то что?

– А дальше одному Богу известно, а не нам, дурам, – вздохнула Фрося.

В это время издали громко чихнули. Фрося побледнела, как труп, но Нюра, напротив, вдруг осмелела, даже совсем неожиданно для себя.

– Я тебе вот что скажу, Фрось, – начала она, опрокинув уже стаканчик. – Пушай чихает. Все-таки, значит, он живой. Мертвые не чихают.

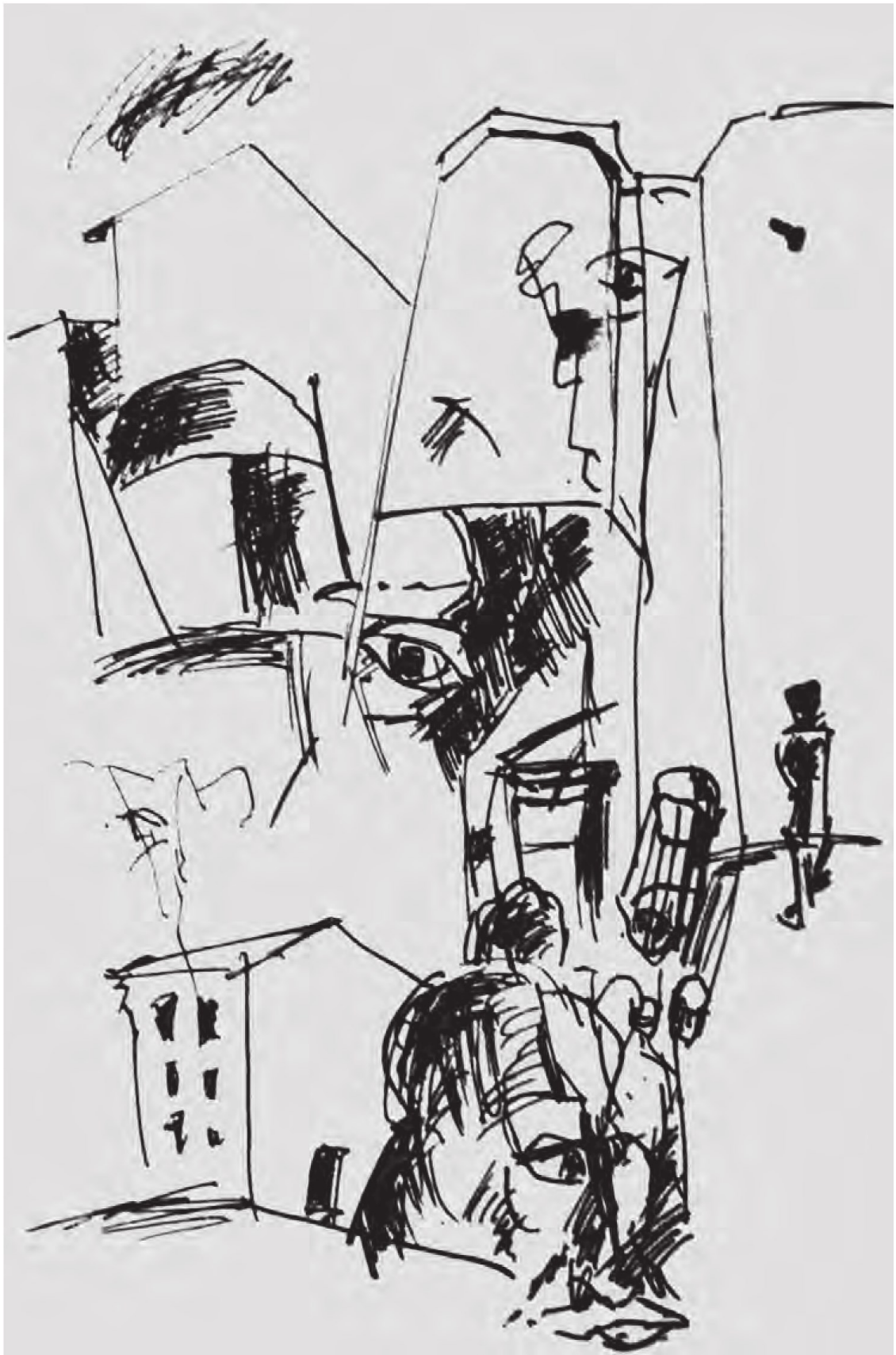
Фрося посмотрела на нее своими голубыми глазами и промолвила:

– Экспертиза нужна, Нюр. Или мы сумасшедшие, или нос. Надо кого-то пригласить.

– А кого? У меня еще один любовник есть, может, его?

– Ладно, охальница. Научных работников, думаю, надо пригласить.

– Психиватров, что ль? Или физиков?



– Нет и нет. Людей не надо. Я вот думала-думала и придумала. Собачонку надо пригласить.

– Какую собачонку? Ты что?

– Обыкновенную. Понимаешь, люди сейчас все сумасшедшие какие-то. У всех, кого ни возьми, одни галлюцинации и бредок. А собачонку не обманешь, – и Фрося хитро подмигнула подружке, лицо которой совершенно расплылось от внутреннего жира, чая, печенья и водки.

– Ох, и мудрая же ты, Фрось. Да, нашу собачонку, Дружка, и надо пригласить. Ведь когда Николай Николаевич у меня ночевал, Дружок всегда к нему ластился и признавал. А чужую собачку чего приглашать – не вместит. Надо своего. Если признает нос за нос, значит, мы не мечтаем. А просто такая уж жизнь, – и Нюра развела руками.

– Вези Дружка немедленно, я еще за портвешком схожу. Одна я тут боюсь оставаться, – пискнула Фрося.

– Бегом!

И толстушки как бешеные понеслись, Нюра – за Дружком, Фрося – в дальний магазин. Встретиться договорились на мосту. Дружок был принесен под мышкой. Был это маленький песик, с добродушно-недоверчивыми глазками. Фрося накупила целую сумку винца – запаслась.

Теперь уже посмелее они открывали дверь. Не решаясь войти в комнату, прошли на кухню. Но дальше произошло что-то уму невообразимое (впрочем, Фрося ведь сама стала отрицать ум). Дико завизжала собачонка Дружок и кинулась из рук Нюры неизвестно куда. На кухонном столе перед взором только что пообедавших там подруг полулежал нос Николая Николаевича, как раз между недоеденными кусочками колбасы и хлебца.

Собачонка однако вдруг вернулась и, чуть приподнявшись на лапки, стала истерично облаивать нос Николая Николаевича.

– Все кончено, Нюра, – глухо проговорила Фрося. – Это не галлюцинация, а жизнь. Разум покинул мир и нас, вот что я тебе скажу. К чертовой матери. Я больше не хочу жить здесь. Раз ты была любовницей мужа, приюти меня теперь у себя.

– Уют всегда будет! – закричала Нюра. – Сматываем удочки, Фрось. Бежим отсюда, как из ада! Скорее! Лови Дружка! Того и гляди, он цапанет нос!

Грузная Фрося подхватила Дружка. И вдруг, когда они очутились в передней, где висело на стене большое зеркало, они обе, любовница и жена, явственно увидели в зеркале отражение Николая Николаевича. Он медленно шел, выпятив брюшко и лишенный носа.

Фрося, как ужаленная, обернулась. Но, увы, в реальности никого не было. Ни даже тени Николая Николаевича в передней. А в зеркале между тем он шел, и даже весьма уверенно.

Не по-нашему заголосив, с визжавшей собачкой подмышкой Нюры, подруги, как толсто-брюхие синюшки, выкатились из сумасшедшей квартиры.

Оказавшись на улице, завyli спокойней, но в беспамятстве, жирно целуя друг друга...

– Он жив! – закричала в конце концов Нюра.

– Дура ты, Нюр. Какой же он живой, когда он только в зеркале.

– Жив, но невидим для нас.

– Раз невидим, то почему в зеркале?

– Да потому, что Николай Николаевич, – вдруг разрыдалась Нюра, – очень своеобразный был человек. Потому он сейчас и в зеркале, а в квартире его нет.

– А нос?

– Что нос?

– Нос где?

– Был на кухне! Он ведь перемещается!

Подруги зарыдали и вспомнили всю нежность Николая Николаевича по отношению к ним.

– Он тебя очень любил, Фрось, – глотая слезы, говорила Нюра, – бывало, со мной спит, на перине, учти, на перине, и вдруг во сне кричит: «Фрося, Фрося!»

– Да и тебя он любил, Нюр, – отвечала Фрося. – Бывало, его в бок толкаю, а он орет: «Нюра, Нюра! Спаси!»

– Это, Фрось, бесы к нему приходили. Потому он нас с тобой и звал.

– Куда?

– В ад, конечно, куда же еще?

– А сейчас он где?

– Думаю, на том свете.

– Эх, Нюр, дура ты все-таки, – вдруг оборвала ее Фрося. – На том свете ведь тоже порядок. И, говорят, железный. Оттуда не будешь нос сувать к нам. И вообще хулиганить. У мертвых знаешь какой порядок?! Нет, тут что-то не то. Я те и говорю: разум у Вселенной отъяли, вот и все. И нечего на тот свет ссылаться.

– Я и не ссылаюсь, – вздохнула Нюра. – Поедем, Фрось, ко мне с Дружком, гляди, он весь дрожит. Сумку-то с винцом ты прихватила?

– А то забуду, – нахально ответила Фрося. – Всегда при мне, – и похлопала по сумке.

– Ну и айда в будку. Потому как мы теперь после такого виденья уже не совсем люди, правда ведь! Пойдем, зальем горе, что мы не совсем человеки, а я тебе постельку твоего муженька покажу. Где он отдыхал, когда уставал, отдельно от меня и книжку читал. Да мы в эту постель вместе ляжем и забудемся. А то я устала.

По пути Дружок вел себя совершенно неадекватно. Бросался на соседей по трамваю, облаял окно, норовил выпрыгнуть бог весть куда.

Дома все трое совершенно обезумели. Из холодильника вынули почти все и завалили этим стол.

– Почему такой аппетит? – кричала Фрося. Собачка же бегала из стороны в сторону и облаивала развешенные по стенам портреты.

Тогда Фрося решила плясать.

Нюра присоединилась к ней. И две родные жирнушки лихо отплясывали свое новое рождение. Ибо, как решили они, разум кончился и наступила новая эра.

И они лихо плясали, празднуя это начало.

Иногда Нюрка, глотнув винца, тяжело дыша в ухо Фроси, бормотала:

– А Колька-то сейчас игде?

– В носе, – неизменно отвечала Фрося.

– А как же хоронить его будем? – скулсилась Нюра.

– А зачем живого хоронить. Нос-то ведь етот живой. Ты сама слышала, как он чихал.

– А зеркало?

– Что зеркало?

– Кто в ем был?

– Сам Николай Николаевич, но другой стороной. Без носа.

– Мудрено, – отвечала Нюра.

– Не мудрее нас самих. Ты на себя-то посмотри, Нюр. Как это тебя Николай Николаевич не пугался!

Нюра захохотала.

– А как его хоронить все-таки, – сквозь хохот проговорила Нюра. – Ведь его, с одной стороны, – нету. С другой – он умер. Выход один: похоронить нос, то, что осталось.

– Бред какой-то, – возмутилась Фрося. – Да кто же разрешит хоронить нос? Такого еще начальства нет на белом свете, чтоб разрешить нос хоронить. Даже атеисты и те ошалеют.

Вдруг какой-то грохот раздался в небе. То ли гром, то ли еще что-то покрепче. Подруги задрожали и прильнули друг к другу.

– Лишь бы жить, – проскулили они. Потом опомнились.

– Да, Фрося, еще по винцу, за бредовую жизнь, по стакану, – и Нюра подмигнула ей.

– За бредовую жизнь! – повторила Фрося.

– И за счастье, – воскликнула Нюра.

– Конечно, за счастье, Нюр. Ведь я теперь понимаю, что бред и счастье – это одно и то же, – добавила Фрося. – Вот, к примеру, Николай Николаевич исчез, а нос оставил здесь, на этом свете. И нос-то живой! Чем не счастье – умереть, а Нос зато живой?!

Глаза Фроси вдруг наполнились несвойственной ей сверхъестественной мудростью. И отблеск этой мудрости лег на Нюрины глаза.

– Прощай, Нюрка! – вдруг проговорила наперекор природе Фрося. – Все кончено. Мы уже не здесь. Простись с миром-то, Нюр, – и она толкнула Нюрушку в жирный бок. – Очнись! Где мы?

– Где мы? – заорала Нюра и воткнула вилку в сельдь (они уже сидели на кухне).

Что-то происходило в их душах.

– Знаешь что, Нюр, – хрюкнув, сказала Фрося, когда они уже, совершенно пьяные, упали на пол, на ковер перед центральным отоплением, откуда шло родное тепло.

– Что?

– А то, что у меня есть телефон эксперта по тому свету. Мне дал его телефон мой брат, интеллигент и мистик, не то что мы с тобой. Он и разгадает всю эту ерунду.

– Зови, зови его, а то мы умрем. Мне так жалко свое тело, в смысле смерти, Фрось.

– Не бойся. Будет другое. Мы с тобой уже связаны надолго любовью.

– Забудь.

– Что забудь? – спросила Фрося.

– Жизнь.

– Ты что, Фроська, с ума сошла? Ты что, наоборот родилась, что ли?

– Нюра, Нюрка, все кончено. Я уже не та, потому что нос. Прости меня за все. Разума у меня больше нет, хоть и говорю умно.

– Все понятно, Фрось. От Колиного носа мы так просто не отделаемся. Чтоб не погибнуть, надо звать.

– Кого?

– Эксперта по смертям.

На следующий день Фрося решила, во-первых, что она не вернется в свою квартиру, а с Нюрой они вроде бы как посестрятся и она будет пока у нее жить. Во-вторых, Фрося нашла все-таки того «эксперта» из закрытых кругов по фамилии Курбатов Владимир Семенович. Эксперт решил взяться за дело всерьез и попросил ключ от квартиры у Фроси. Та с легкостью дала. Эксперт пришел за ключом не один, а с подругой Леной, тоже из закрытых кругов.

В тот же день, правда, произошла еще одна странная история. Фрося, из чувства долга, позвонила в свое районное отделение милиции. Она ничего не говорила о носе, а только полупонамекала, но об исчезновении самого сказала. Между прочим, ей ответили, что в ту злополучную ночь, когда пропал Николай Николаевич, в районе нашли труп – неузнаваемо изуродованный, но без носа. После этого Фросе захотелось заснуть, неестественным сном. Звонила она уже из квартиры Нюры.

...Как раз в это время Владимир Семенович с Леной подходили к дому, где жил пропавший. Был уже вечер, холодило, словно дул ветер с того света. Лену все время пробирали дрожь.

– Я тебе вот что, Лен, скажу, – повторял Владимир Семенович, – девки, конечно, дуры. Все напутали. Тут все просто. Человека убили, а его эфирное тело, тело-двойник, появилось перед ними, они от этого с ума и сошли, трехнулись. А дело-то пустяковое. На православной Руси все знали, что покойник несколько дней после смерти бродит вокруг.

– Ладно, ладно, – возразила Лена. – А мне что-то страшно. А как же ты объяснишь нос?

– Ну, о каком носе ты говоришь? Ерунда все это. Нам прекрасно известен механизм потустороннего мира. При чем тут нос? Почитай тома по оккультизму, все ведь, что касается

состояний после смерти, расписано по полочкам. Ни о каких носах там речи нет. Дуры и есть дуры.

– Не говори так, Володя. Фрося и даже Нюра вовсе не похожи на дур. Все бы такими дурами были.

– Ну, вот мы и дома, – ласково сказал Владимир Семенович, открывая дверь квартиры номер три.

Осторожно вошли, включили свет. Прежде всего бросились искать нос. Но носа нигде не было: ни в передней, ни в задней комнате, нигде. Лена так и села от разочарования.

– С жиру и нагрезили толстушки, – рассердилась она. – А труп-то где?

– Какой труп? Фрося же не говорила о трупе. Он исчез просто так, – ответил Владимир Семенович.

– Знаешь, Володя, давай и мы посидим просто так.

– Поздравляю. Давай сидеть.

И в этот момент Лена закричала.

В зеркале, которое было перед ней, появился мужчина, то был Николай Николаевич, – ведь они прекрасно знали его – но с двумя головами. В зеркале явственно были видны две головы, одинаковые причем, двойники, но в самой квартире Николая Николаевича, тем более с двумя головами, и духу не было.

Володя побледнел, но отнесся к событию, сохраняя себя.

– Ну, вот и не выдержала ты, Лена, испытания. В жрицы ты не годишься, – усмехнулся он. – Все вы такие, интеллигенты. В теории – хоть куда, а чуть что реально – в обморок падаете от мухи любой. Что дрожишь как ненормальная?

– Володенька, я сойду с ума – ведь он смотрит на нас двумя головами, гляди, он смотрит на нас...

Володя взглянул. И даже ему стало нехорошо. Две головы Николая Николаевича с четырьмя глазами прямо-таки впились в этих экспертов. Володя все-таки сохранил частицу самообладания.

– Главное, отсутствие страха, – проговорил он шепотом. Губы у него побелели. – Если страх возьмет свое, мы погибнем.

– Давай запоем, Володя, – предложила Лена.

И в это время дикие рожи в зеркале подмигнули кому-то и исчезли. Но подмигнули настолько жутко и зловеще, что понятие о юморе исчезло из умов Лены и Володи навсегда. Однако реакция их была неожиданной.

– В любом случае – не бежать. Мы аналитики, а не трусы. Ты что, Лена, испугалась неординарных галлюцинаций? Позор! – прикрикнул Володя.

Короче говоря, они выпили бутылку с лишним водки и уснули. Рано утром их разбудил хохот. Лена вскочила первая.

– Где? Где? – закричала она.

И заметалась, точно в поисках хохота. Володя, в одной босоножке, бросился в туалет. Но хохот раздавался не из туалета.

Внезапно он смолк.

Володя вернулся.

– Это был его хохот. Я ведь знал его несколько лет. Это он, – грустно заключил Володя.

– Но где хохотун-то, где хохотун?! – истерически закричала Лена.

– Хохотуна нет, был только хохот.

...Володя решил уходить.

– Пора, Лена, пора, – приговаривал он, торопясь и приходя в себя после хмеля. – Зря я тебя заставил остаться. Может быть, действительно мы чего-то не понимаем.

И они выбежали из квартиры.

Решили, наконец, поехать к Лене, в одинокую квартиру, чтоб забыться и ничего не объяснять. Ленина квартира вообще была как бы в цветах и в мягких диванах, которых, правда, было всего три. На полках лежало все – от чернокнижия до самого высочайшего платонизма на многих языках.

И только разлили вино, как раздался хохот – опять тот же самый хохот, явно Николая Николаевича, будто бы покойничка, какой они уже слышали в квартире номер три.

Володя спокойно опустил стакан:

– Ну, вот, видимо, Лена, все идет как надо, к концу. Не дрожи теперь. Мало ли что бывает. Нас же не снесло в ад. Еще не то будет.

Лена выплеснула на стену вино и выбежала на улицу. Володя – за ней, чтоб успокоить.

Между тем старушка Авдотьевна, соседка по квартире Владимира Семеновича, сидела у себя в клозете.

«Жизнь моя идет к концу, – думала она. – Ведь уже глубокая старость. Что делать?»

И в этот момент прямо перед ней, около корыта, что висело на стене туалета и в котором обычно купают дите, показался нос и чихнул. Авдотьевна завизжала, но двигаться побоялась. Тогда нос (то был явно нос Николая Николаевича) опять чихнул. Старушонка сорвалась и выскочила из клозета. Потом упала на пол неизвестно перед чем. В углу висел только портрет Луначарского.

– Ну вот, еще не издохла, а мытарства начинаются! А может, я уже померла и сейчас на том свете. Все кончено, – завывала она в уме.

Из резвости, решив, что раз она на том свете, то теперь все равно, старушка истерически забежала опять в клозет. Носа уже не было. Но весь клозет был словно обчиханный.

– Конеч, конеч, конеч, – запела старушка Авдотьевна, решив теперь запеть.

– Чего мне бояться-то сумасшедшего дома, – приговаривала она между песнями. – На том свете сумасшедших домов нет. Там и так все сумасшедшие, без домов, от себя...

Вообще дальше события развивались довольно странно. В Москве одна за другой стали происходить непонятные истории. Например, семья Тявкиных мирно сидела вечером за обеденным столом и смотрела телевизор. В телевизоре показывали полуголых девок. И вдруг на какое-то мгновение девки пропали и на экране появились сначала тени, а потом и сам двухголовый урод, который пристально посмотрел в окружающее пространство и исчез.

Мамаша упала со стула, и только мальчик Леня уверял, что ничего не было.

Видели ли другие телезрители двухголового Николая Николаевича – было неясно, ибо явление продолжалось 2—3 секунды; а, может быть, никто не хотел признаваться в безумии мира.

Детский сад № 8 по Юго-Западному району вообще переполошился, когда там из маленькой комнаты, где валялось обычно барахло и в которой никого никогда не было, стал периодически по утрам раздаваться смех. Начальница решила, что хохочут хулиганы, забравшиеся туда. Искали, искали, перевернули барахло – никого. Звонили в милицию.

Дело окончилось трагически. Хохот вдруг раздался в кабинете директрисы, и, когда вошли, она уже была мертвая. Лежала на полу с разрывом сердца. Детишки после этого, правда, присмирели и стали меньше бить друг друга. Хохот прекратился.

Но никогда двухголовый, хохот и нос не возникали одновременно в одном месте. Всегда из пустоты появлялся только один из них.

Фрося и Нюра стали получать «хулиганские» письма: «Ку-ка-ре-ку» – но почерком Николая Николаевича. А Володя с Леной? А «милиция»? Авдотьевна из туалета?

Впрочем, официально в явлениях почти никто не признавался и все шло своим чередом: давки, очереди, жизнь и мечтания. Экспертов же отнесло: не стали ничего «экспериментировать».

Примерно через месяцок после этих событий Валентин Матвейч, почти интеллигент и сосед по дому Николая Николаевича, проснулся утром в плохом настроении.

«Жизнь заела, – подумал он. – Да и сны сумасшедшие снятся. Значит, пора выпить, тем более воскресеньем».

Но, прежде чем выпить, надо было привести себя в порядок, а не прямо так – из постели к водке. Потому Валентин Матвейч прежде всего пошел в ванную, но, взглянув на себя в зеркало, ошалел.

«Нос-то не мой, – решил он, – определенно, нос не мой... Или он так изменился за ночь?»

С изумлением он стал всматриваться и ощупывать, надеясь на естественное. Но когда понял, что это действительно не его нос – закричал. Однако потом успокоил себя мыслью, что этого не может быть. Значит, нос его, но как бы превращенный, обороченный.

«Ведьма, наверное, его какая-нибудь обернула в другой, – опасливо подумал он. – Ведь у нас во дворе живет одна. За ней водится...»

За стаканом водки он все время взглядывал в карманное зеркальце на свой нос.

«Хорошо, что жена уехала, – стал он разговаривать сам с собой. – А то бы вообще черт знает что было бы... Лишь бы водка помогла отвлечься, а там пусть... Ох, уж эти носы...»

Но на сердце было тоскливо и даже как-то тяжело. Водка не очень шла. Тянуло читать стихи. Выпив все-таки стакана полтора, Валентин Матвейч задумался:

– А если вдруг не мой нос, то чей? Да, чей?

И он впился в зеркало. Особенно смущал его диковатого вида прыщик на носу с левой стороны.

Но надо было продолжать жить.

«Что же мне вешаться из-за этого? – рассудительно думал он. – Пускай уж как есть».

И засуетился, забегал по квартире, приводя все в порядок, в том числе свой внешний вид. Приделся, галстук приладил, одеколоном на нос побрызгал (для пущей реальности, мол, все как у людей) и пошел в кино.

Вечером Валентин Матвейч оказался гостем у живущих этажом ниже. Почему его пригласили, он сам особенно не понимал. Гостей было немного, но и немало, так средне. Все шло более или менее в норме, было только два-три подозрительных взгляда на нос Валентина Матвейча.

Но все изменил приход одной соседки, старушки Сергеевны. С самого начала она прямо-таки впилась взглядом в нос Валентина Матвейча, не выпуская его из своего поля зрения. Валентин Матвейч конфузился, робел, не мог же он нос снять и положить в карман хотя бы на время. Наконец, после пяти рюмок водки старушка осмелела и возьми и гаркни на всю комнату:

– А нос-то у вас, Валентин Матвейч, не ваш, Николая Николаевича, Смирнова исчезнувшего.

За столом все дико захохотали, двое уронили рюмки под стол. Нос Валентина Матвейча действительно почти у всех присутствовавших возбуждал недоверие, но не до такой степени. Тем более, присутствовавшие не так хорошо знали Николая Николаевича в лицо.

– Вот, бабка, что придумала, надо же! – закричал один студент. – Лихая какая!

Все опять стали хохотать, но не над носом Валентина Матвейча, а над старушкой.

Сергеевна тогда вдруг совершенно озлилась, даже до потери сознания.

– Да, я Николая Николаевича хорошо знала, лицо его для меня мило было всю жизнь! – вдруг завизжала она. – Мы с ним каждый день на лестнице и в передней встречались! Он был для меня не чужой человек, а родной, родной, вот так!

И Сергеевна выскочила из-за стола.

Все как будто разом очумели от таких слов.

– Сумасшедшая она! – воскликнул кто-то.

– Не я сумасшедшая, а он, – визжала Сергеевна, указав на Валентина Матвеича. – Я нос Николая Николаевича как свой знаю!

Она подбежала к совершенно обомлевшему и перетрусившему Валентину Матвеичу.

– Ну, пускай я ошибаюсь, – затараторила она, указывая на нос Валентина Матвеича, тьфу, на нос Николая Николаевича. – Но прыщ-то, прыщ вы куда денете? Такого прыща ни у кого нет! Да я доказать могу перед самим Творцом – фотографий-то у меня Николая Николаевича сколько! И все с этим прыщом!

Все даже замерли: есть доказательство. А Сергеевна вдруг вцепилась двумя пальцами в нос Валентина Матвеича (тьфу, Николая Николаевича) и заорала:

– Отдавай нос, воруга! Отдавай нос! Это нос самого Николая Николаевича!!!

И потом зарыдала:

– А сам Николай Николаевич-то где?

После этого получился чувствительный полный переполох. Кто кричал, Валентин Матвеич и есть Николай Николаевич, кто, наоборот, что Николай Николаевич и есть Валентин Матвеич, а старуха все перепутала; кто кричал, что, действительно, нос не тот, то есть тот, который был у Николая Николаевича; кто кричал, что вызовет психиатра.



Разбили посуду, дошло чуть не до драки. А возмутителей алкогольного покою за столом вышвырнули за дверь – и Валентина Матвеича, и старушку Сергеевну.

– Разбирайтесь сами, паразиты, чей нос, а нам не мешайте пить своими чудесами, – припугнул их здоровый верзила.

Со страху Валентин Матвеич побежал, старушка было за ним, чтобы сорвать любимый нос, но из-за своих лет задохнулась и отстала.

Забежав к себе и бросившись к зеркалу, Валентин Матвейч ужаснулся: нос-то и вправду был Николая Николаевича. Валентин Матвейч вспомнил и прыщ: ведь не раз выпивал с соседом (и однажды даже чокнулся стаканом с этим прыщом).

Взвыв, Валентин Матвейч решил забыться.

По поводу трупа Николая Николаевича велось расследование. Тот труп, о котором сначала говорили Фросе из милиции по телефону, оказался не тот. Совсем был пустячный труп, без сверхъестественного. Впрочем, Фрося сомневалась.

На Нью и Фросю между тем напала дикая страсть к оккультизму. Читалось все, что доставалось и попадалось. Читалось на работе, по ночам, во время еды. «Сестры» совсем обезумели. Поили наливкой экспертов: Володю с Леной и других, лишь бы они открывали «тайны». Мнения скрещивались, перекрещивались, но картина все-таки была неясна, особенно в отношении «загробной судьбы», которая как раз больше всего их и интересовала.

Беда была в том, что, по крайней мере в отношении наглого Николая Николаевича, ничего не сходилось. О носе и таком его поведении в тайных учениях – ни полслова, и прочее, и прочее. Например, Фрося совершенно обалдела, когда увидела вылитого Николая Николаевича (и, естественно, без носа) прямо на улице, правда, ближе к ночи. Но в каком виде!

«Николай Николаевич» был в виде инвалида, скрюченный, с поврежденной ногой, на инвалидной коляске, и на нем был ошейник, а держал его за цепочку потешного вида человек в шляпе. Фрося была на улице одинока и, на многое не решась, все-таки выкрикнула:

– Коля! Мой муж!

Человек в шляпе в ответ заорал что-то нечленораздельное и повел «Колю» на цепочке вперед, так что было непонятно, то ли он вел Николая Николаевича почти как собачку, то ли так катилась колясочка, которой Коля помогал катиться движениями рук по земле.

Истерически Фрося забежала вперед и, взглянув в глаза инвалида, ужаснулась...

«Это труп, считай, что труп, – подумала она. – Хотя глаза открыты и сам дергается».

Тут же ей вспомнились «зомби», и она побежала в другую сторону, только хозяин «трупа» помахал ей шляпой вслед.

«Но труп-то Николая Николаевича!» – завизжала она в уме и исчезла в подzemелье метро.

Николай Николаевич между тем в зеркалах стал редко появляться. «Инвалида», однако, видела еще раз какая-то родственница Николая Николаевича и долго потом визжала по телефону Фросе, что это явный труп Коли, но только-де «управляемый». А после того как Николай Николаевич, правда, одноголовый, снова мелькнул по телевизору, но уже с носом, и Фрося, и Нью, и все эксперты во всем засомневались вообще.

Но скоро события приняли более трагический оборот. Начать с того, что Валентин Матвейч сошел ума, причем только наяву; когда спал – то бы был вполне нормален, хотя видел сплошные кошмарные сны.

«Да какой ум сейчас нужен. Зачем ум-то мне теперь, после всего, – горестно думал Валентин Матвейч, поглядывая в зеркало на свой нос. – Какой тут ум может помочь?»

Однако же дело принимало и в житейском плане серьезный оборот: Валентин Матвейч начал буйствовать, ни с того, ни с сего бил стекла, зеркала и порой с криком «где мой нос» бегал ночью по улицам. Ему стало казаться, что старушка Сергеевна не в меру своих лет гоняется за ним, пытаясь сорвать с него последний нос.

Вскоре до этого своего «последнего» носа он уже боялся притрагиваться. А если прикасался, то кричал диким голосом, словно этот нос стал уже иным, инопланетным, скроенным из иной субстанции.

Нос действительно вел себя неадекватно, чихал, например, ни с того, ни с сего, в то время как Валентин Матвейч внутренне никакого приближения в себе чихания не чувствовал, словно

он – был одно, а его нос – уже другое. Иногда из носа вообще лились какие-то сумасшедшие звуки, ни на что не похожие, нечеловеческие, словно Валентин Матвейч находился в доисторическом лесу.

Было над чем подумать, и иногда, по вечерам, Валентин Матвейч скорбел о потере своего ума, плача перед телевизором.

Слух о его носе между тем дошел до толстухек Фроси и Нюры. Те тут же побежали смотреть. Бегом, кубарем, лишь бы увидеть какой-нибудь остаток Николая Николаевича. Самого Валентина Матвейча они хорошо знали как соседа.

Утром, когда Валентин кушал яичницу и скорбел, прямо-таки ворвались.

– Вот он, нос, – закричала Нюра. – Нос покойного! Вот он где! На Вале!

Валентин Матвейч обомлел.

– Нет прыща, прыща-то нету, Нюра, – заскулила вдруг Фрося, нервно бегая вокруг Валентина Матвейча. – Ты глаза, Нюр, протри и посмотри: прыща-то нету! Какой же это тогда нос покойного!

Прыща и взаправду не стало, прошел, хотя в остальном нос был как будто бы «покойного».

– Был прыщ, был прыщ, – горько заплакал Валентин Матвейч и ринулся было к зеркалу, но зеркала в этой квартире все были побиты.

После скандала – Нюра даже хватанула Валентина Матвейча тряпкой по носу – толстухи унеслись. А Валентин Матвейч, по-прежнему чуть не плача, о чем-то догадывался. Нашел осколок зеркальца и посмотрел: да, конечно, прыщ был на месте, прямо-таки сиял.

Валентин уже начал подозревать нос в способности к мимикрии и вообще к разным хитростям. Видимо, нос почувствовал, что его могут сорвать, и принял иной вид. Еще когда старушка Сергеевна гонялась за ним, Вале показалось, что прыщ исчез. А потом опять появился.

Но окончательное доказательство этих данных вконец добило его. С визгом «оторву, изничтожу, отрежу» он бросился было на кухню, к ножу – но испугался пролития крови. Он вообще не любил насилия.

Фрося и Нюра тем временем целую ночь спорили на кухне, «его» нос или не «его».

– Его был синеватый, Фрось, – любовно и мечтательно говорила Нюра. – Неужели ты забыла?!

– Но самое главное, Нюр: прыщ, – покачивая головой, отвечала Фрося, задумавшись.

А потом вскочила:

– Я пойду, инвалида искать!

– Не инвалида, а труп, – обрезала Нюра. Фрося опять задумалась.

– Нет, все кончено, подруга моя, – сказала она после молчания. – Неужели ты не видишь, гармония загробного, потустороннего мира разрушилась – вот в чем все дело. Это мне еще вчера Володя сказал после всего. Мы долго с ним об этом говорили, – глаза Фроси вдруг заблестели, и она похорошела. – В мире невидимом что-то случилось, Нюр, вот в чем дело – все там, в загробном мире, логично было по-своему, упорядочено, до случая с Николаем Николаевичем. После смерти каждый элемент знал, куда шел. А с Колей што? Разве это смерть, когда носы с покойников соскакивают и чихают? А хохот, Нюр. Меня до сих пор дрожь берет, как он хохотал. Я ж его голос узнала, слава богу, жена ему верная была столько лет. Так разве покойники раньше, до Николая Николаевича, хохотали? И чего на том свете, в конце концов, такого смешного, чтобы эдак заливаться? Не молитвы ведь читал, а только хохотал. Нет, нет, что-то разрушилось, что-то произошло на том свете и в мировом порядке. Все идет ко дну.

– Брось, Фрось, – гаркнула Нюрка, пережевывая колбасу. – Как будто тут на земле порядок есть. А ежели тут нету, так почему там должен быть? Или, наоборот: если там нет, то почему тут должен быть? А... – она махнула рукой. – На нет и суда нет. Проживем так, зато

веселей. Скоро я от водки буду трезветь, а от водопроводной воды пьянеть. Ну и что? Вчерась по улице иду: гляжу люди, но не поймешь мужики или бабы. Так и не поняла. Ну и что?

– Не то, не то говоришь, Нюра, – истерически забормотала Фрося, словно вспомнила что-то. – Не тот беспорядок идет, вмешательство. Не такой, как обычно. Иной... мне эксперт объяснил. – Нюра развела руками и налила по стаканчику наливки.

Начало темнеть. Фрося взглянула на луну.

– Ишь, луна-то какая стала, Нюр, – тихо проговорила она.

В природе, действительно, было не совсем ладно. Вдруг раздался резкий телефонный звонок. «Сестры» так вздрогнули, что пролилась наливка и мякнула кошка. Но, оказалось, звонил Володя.

– Я рядом. Забегу. Есть новости с того света, – коротко сказал он.

Пришел тихий, серьезный и сказал:

– Вчера был опыт. Есть такой в Москве маг, теург, которому открыты высшие миры. Это совершенно объективно. В строгом соответствии с древней традицией. Никаких изгибов, никаких отклонений. Все проверено практикой тысячелетий. Мы хотели знать вот что: если с оболочками, с телами Николая Николаевича происходит непонятно что, уму непостижимое, и все не по правилам, то что с главным, с его душой, точнее, с его высшим неуничтожимым духовным существом. Возможно ли там безумие? И вот что ответили сверху: «Высшего начала Николая Николаевича нигде нет, хотя этого не может быть. Душа пропала неизвестно где, хотя нам доступно и видно все», – вот что они ответили.

Фрося заплакала.

– Господи, а я надеялась, что только над Колиным телом такое издевательство происходит, а душа его спокойна, спокойна, как река Волга в старину. А теперь, значит, и душа его неизвестно что и где. Может, также колдовращается, как нос... Бедная я, бедная, – плакала она, уронив голову на стол. – И Николая Николаевича жалко.

Нюра тоже рыдала.

– Разве ему нельзя помочь молитвою? – говорила она.

Володя развел руками:

– Молиться надо, но раз высшие силы не знают... Все сдвинулось или сдвигается...

На следующий день вдруг состоялись похороны тела Николая Николаевича. То есть в точности, конечно, нельзя было знать, Николая Николаевича хоронят или кого другого, но труп, однако ж, был очень похож, и притом без носа.

Трупец этот обнаружил почти случайно безумный Валентин Матвейч, который в поисках неизвестно чего стал обегать все кладбище. Нашел труп. В этом ему помогла его пожилая, сухонькая соседка, Арина Петровна, которая увлеклась его безумием. И, наконец, они и наткнулись на труп Николая Николаевича, лежащий в густых кустах (так громогласно объявила Арина Петровна, хорошо знавшая его). Гроб уже как-то быстренько выносили для похорон, и он был почему-то пока еще не прикрытый, а Арина Петровна визжала:

– Вылитый Николай Николаевич, он самый! В гробу!

Возможно, что действительно это был он. Действительность вообще менялась и теряла свои обычные свойства. Даже небо было какое-то мрачное, при полном присутствии голубизны.

Валентина Матвейча окончательно убедило отсутствие носа на трупе, да и как было не узнать соседа.

Хоронили Николая Николаевича тем не менее какие-то незнакомые мрачные люди в черных костюмах и с военной выправкой. Арина Петровна боялась и подходить-то к ним близко, не то что спрашивать.

Валентин Матвейч же и не спрашивал, а совершенно очернев, с растрепанными волосами, вдруг подняв руки вверх, бросился к гробу с каркающими криками:

– Нос возьми туда. Мой нос снимите! Боюсь, что нос на мне!

Прохожие шарахались от него, а мрачные люди в черных костюмах стали оттаскивать его от гроба. Но Валентин Матвеевич бился, вырывался и кричал:

– Нос похороните тоже! Я сам лягу в гроб лишь бы нос похоронить!

В какой-то момент ему удалось вырваться, и он как-то резво почти впрыгнул в гроб прямо на Николая Николаевича. При этом Валентин визжал:

– Хочу в гроб! Хочу в гроб! Вместе с носом! Хочу в гроб вместе с носом!

Его еле-еле оттащили, впрочем, оттаскивали с полным добродушием, даже с грустью. Николая Николаевича поправили в гробу и двинулись.

А Валентин Матвеевич еще долго махал руками и кричал им вслед, боясь дотрагиваться до своего носа. Только любопытная Арина Петровна частенько взглядывала на его нос, нервно вздрагивая.

Небо оставалось голубое, но с таким ощущением, что скоро на нем произойдет что-то несусветное.

В этот же день Нюра ушла из дома рано по делам и по хозяйству, а когда вечером пришла, Фрося, сидя за столом, сказала ей:

– Мой-то опять хохотал. В той комнате. А я была здесь.

– Не заглянула? – мрачно спросила Нюра.

– Какое!..

В той комнате решили не спать.

А через несколько дней хохот опять повторился, но такой веселый и наглый, что «сестры» толстушки кубарем выкатились из квартиры.

Мрак сгустился. Поговаривали, что виднелся профиль Николая Николаевича на шестиэтажном здании, в вышине.

А к Валентину Матвеевичу ум уже не возвращался. Володя долго и серьезно беседовал с ним, внушал, но безуспешно. Толстушки толкались рядом.

– Мы тоже скоро ум потеряем, Володя, после всего, – жаловались они ему, когда все вчетвером, с Леной, возвращались домой по длинным широким московским улицам, по которым хлестали тьма и дождь.

– Ты знаешь, – проговорила Фрося, – в Нюрином доме после хохота Николая Николаевича ни с того ни с сего три соседки потеряли разум, хотя хохота и не слышали.

– Теперь все может быть, – мрачно отвечала Лена. Зашли на ночь к Володе. Одно только их окно и светило в целом доме.

– Итак, мудрость мира нарушена, – сказал Володя, когда они расселись на кухоньке. – Никто не знает, куда пропала душа Николая Николаевича. Но на всякую мудрость есть сверхмудрость. Она и увела его душу.

И все они истерически поклялись разгадать эту сверхмудрость, которая, наверное, ни к разуму, ни к мировому порядку, ни к высшей гармонии никакого отношения не имеет.

Одна Нюра целую ночь хихикала.

*Смешение миров – тема характерная для метафизического реализма. Сюрреализм, бред и ужас этого рассказа вполне нормален, ибо когда параллельная реальность, или даже две, довольно широко и уверенно проникают в наш мир, то, естественно, могут происходить совершенно, казалось бы, фантастические явления. До дикости фантастические.*

*Ведь ломаются пространства, время, физические характеристики нашего мира, а главное, психика еле держится, на грани, так сказать. Вой может идти из разных углов.*

*Конечно, вторжение такое, как видно из рассказа, локально. Оно и не может быть глобальным, ибо тогда был бы конец нашему миру, да заодно и этому параллельному.*

*Мировой порядок держится на разделении миров. И все-таки в стене между ними всегда возникали и будут возникать щели. Большей частью маленькие, незаметные, большей частью тайные, но порой и весьма явные.*

*Но когда кто-то пытался расширить щель и пролезть – получал по мозгам, точнее, по душе, которая от таких ударов теряла свои свойства.*

*В рассказе в результате, пусть и локального, пересечения миров, вероятно, чуть-чуть сдвинулся и этот мир и тот. Поэтому и события, и герои образовали довольно причудливую цепь.*

*Но все это – все-таки на внешнем уровне. В этажах подтекста этого рассказа должен, на мой взгляд, разобраться читатель. Помогите ему в этом высшие силы.*

*А мудрость мира, или миров, – что о ней сказать? Судите сами.*

## Восьмой этаж

Вадим Листов жил в огромном многоэтажном здании на окраине Москвы, но на двенадцатом этаже, в маленькой, однокомнатной квартирке, один. Жил он чем бог пошлет, а точнее, полубогатые родственники. Любимым его занятием было спать. Спал он и днем, и ночью, и по утрам. Его полуневеста, полулюбовница Ниночка Лепетова допытывалась с отчаянием, мол, какие сны он видит.

Но Вадимушка отвечал однозначно:

– Только тебя и вижу. И луну. С меня хватит.

Несмотря на цветущую молодость (было ему лет двадцать пять), казался он диким в обращении, но осторожным по отношению к миру.

– Ну его, мир-то, – говорил он не раз Ниночке за чашкой кефира. – Добра от него не жди. Не туда мы попали, Нинок.

Ниночка обычно соглашалась: мол, не на той планете. Хотя о нашей планете она имела смутное представление. Ей нравился Вадимушка за душевность, простоту и дикость нравов (в квартире его действительно было дико), и за сны. Ниночка и сама была бы не прочь провести жизнь во снах, если бы не ее относительная веселость. А спать ей нравилось, потому что она не любила борьбу за существование. Существовать без борьбы ей помогал отец, папаша, одним словом.

И такими сонными паразитами пребывали они вместе уже два с лишним года.

– Пускай хоть не только цивилизации, но и миры вокруг нас меняются, – нам-то что, правда, Ниноль? – говаривал Вадимушка перед сном.

И Ниночка со смешком уходила в сновидения.

Понятно, что долго так продолжаться не могло. «Мир неизбежно даст о себе знать», – уверял Вадима один философствующий старичок с двадцать первого этажа.

... Однажды Вадим, как обычно, вошел в лифт и нажал кнопку. Но ошибся, и вместо первого лифт остановился на восьмом этаже. Неожиданно для себя Вадим вышел, и что-то нелепое и странное сразу вошло в душу. Этаж был, видимо, еще не заселен, двери в, по-видимому, пустые квартиры были открыты, пахло краской, но чувство странности не оставляло Листова. Как будто на этом этаже отсутствовало все человеческое. Сердце его даже заныло. И сразу из одной из квартир (их было всего четыре) вышел невзрачный человек. Он не спросил Вадима ни о чем, но Листов, однако, попросил его объяснить, что здесь происходит. Человечек неуверенно бормотнул, что весь этаж кем-то куплен и теперь-де ремонтируется, хотя никаких особенных следов труда Листов не заметил. Неожиданно для самого себя Вадим спонтанно пошел прямо в квартиру, откуда вышел человек. Вошел и ахнул. В квартире этой было человек восемь, и семь из них просто бродили из стороны в сторону, а у окна неподвижно застыл в позе мертвого убийцы огромный человецище с лохматой, словно у лешего, головой. Бродящие иногда останавливались около него, но так, что было непонятно, преклоняются ли они перед ним, или просто замирают на месте. Только один из этих людей не останавливался и бродил сам по себе, но все время хохотал, разевая широкую пасть-пропасть.



Хотя сам Вадимушка тоже замер у входа, взгляд его все-таки приковался к фигуре человека у окна.

Тем не менее на Листова никто не обратил внимания.

А Вадимушка все вглядывался и вглядывался, точно прикованный, в глаза человечища. Тот смотрел в пол, но взгляд этот был таков, как будто вместо мира он видел бесконечную бездну, черную дыру, из которой источалось, однако, веселие.

«Ни одной женщины!» – тупо подумал Вадим и готов был заплакать.

– Ты подожди плакать-то, – раздался вдруг громовитый звук изо рта человечища. – У нас тут вместо женщины – бездна.

На это замечание тот, хохотавший, даже взвыл, а потом замолк, и минуты через две обратился к человечищу:

– Саргун, не надо, не надо!

«Саргун» – так, видимо, звали человечище – кивнул.

Вадим в конце концов опомнился.

– Вы рабочие? – спросил он.

В ответ со всех сторон раздался такой хохот, что, казалось, рухнули стены, отделяющие видимый мир от невидимого. Хохотали все восемь, только Саргун молчал, думая свою думу.

Вадим почувствовал в уме кружение.

– А кто хозяин? – спросил он вдруг.

Все мгновенно замолкли. А хохотун посмотрел на Саргуна. Но тот был невозмутим и до того мракобесен, что Вадима стало мутить.

«Самое время идти назад», – подумал он.

Ноги, тяжелые, как слоны, еле слушались, но на сей раз Вадим проявил настойчивость – настойчивость, рожденную страхом перед непонятным, и, пошатываясь, пошел прочь к лифту.

Абсолютная тишина сопровождала его. Он только боялся оглянуться. Вяло нажал кнопку, и появился спасительный лифт. Как только в него вошел, все словно утихомирилось.

– А что, собственно, произошло? – спокойно рассудил он, направляясь к автобусной остановке. – Подумаешь, люди. Ну, рыла. Ну, жуткие. Ну, кошмарнее любых снов. Но все-таки люди. Не убили же меня. Другие бы еще съели.

И Вадимушка облегченно вздохнул.

Вечером, возвращаясь домой, он старательно не нажал кнопку восьмого этажа. Но лифт все равно почему-то там остановился. Открылась дверца. Сердце его истерически забилось, словно стало живым существом. Вадим, однако, не выходил из кабины. А дверь все не закрывалась и не открывалась, вопреки смыслу и разуму. Она оставалась открытой, а Вадим, точно парализованный, не нажимал ни на какую кнопку. Потом нажал, но лифт не сдвинулся. И он почувствовал: кто-то идет, огромный, судя по тени. Вдруг протянулась длинная рука, черная, мощная. Ничего, кроме руки, Вадимушка уже не видел. Рука нажала на кнопку, степенно отдернулась, и только тогда дверца закрылась и кабина поползла именно на двенадцатый этаж, куда и нужно было Листову. Все это появление руки произошло таким образом, как будто замедлилось течение времени или вообще что-то с ним, с временем, произошло.

Весь мокрый, не то от слез, не то от мочи, Листов доехал до двенадцатого этажа и вошел, наконец, в собственную квартиру. Ниночки не было. Он заперся на все замки. А на следующее утро, спустившись на землю по черному ходу, поехал к самому Сучкову.

Сучков был учен во всех тайных науках, и Вадимушку знал, так как одно время изучал его сновидения.

Вадим с удовольствием вошел в знакомую квартирку. Шкафы по стенам были забиты книгами, манускриптами.

Сучков, Семен Палыч, не суетясь, предложил Вадиму чаек с тортом. Чай пили среди книг, разбросанных по столу.

Листов стал рассказывать подробно, нервозно, но не заикаясь.

Ученый слушал, слушал и вдруг завыл, прямо-таки волком завыл. Вадимушка испугался, но вой минуты через три прекратился.

Сучков стыдливо взглянул на Вадима и проговорил:

– Ты меня прости, дорогой. Но я сразу понял: дело серьезное. Очень серьезное и суровое.

От того я и завыл. Волком. Я иногда вою, если что не так. Знай теперь об этом.

Вадимушка изумился, но не настаивал.

Сучков пристально посмотрел на него, но Вадим вдруг расхрабрился:

– Вы бы взглянули разок на этот этаж и на людей в нем, Семен Палыч.

Сучков замахал руками:

– Ни-ни! Я и так все понял. Ни за что не пойду. Понимаете, Вадим, – перешел он на «вы» – во всем этом в моем окружении может разобраться только один старичок. Блаженный такой, божественный, а главное – прозорливый. Он не только поймет, но и все проконтролирует, и, в конце концов, даже уладит. Я же хоть и понимаю, но сделать ничего не смогу. Вот так...

Вадим до ошалелости перепугался. Даже сердце стало безобразить.

– Это опасно? – только и спросил.

– Очень опасно, милый.

– Кто они?

– Пока не скажу.

– Что мне делать?

– Бежать, бежать, дорогой. – Сучков уставился на Вадима расширенными глазами. – Запереть квартиру и бежать. И жить пока подальше от дома. За-таясь, используя символику...

– Это черти? – тоскливо спросил Вадим.

– Мы ненаучных и вульгарных терминов не употребляем, – строго ответил Сучков. – Я сказал все. Держите со мной связь. Со своей стороны, как только я отыщу прозорливого старичка, дам вам знать. И запомните: старичок велик, велик! Но только найти его трудно.

В дверях Сучков крепко пожал руку Вадиму и прошептал:

– Только сообщите, где вы будете.

...На следующий день к Листову явилась Ниночка. Вадим был в растерянности, но все рассказал. Ниночка испугалась, но не настолько, чтобы бежать.

– Куда ты побежишь, Вадим? У меня и у твоих все переполнено. Скажешь причину – обохочут. Да и спать негде. Кругом одни родственники.

Вадим с радостью кивнул: был он слишком инертен, чтобы бежать из дому. Нина как могла его успокаивала:

– Тебе, может, приснилось все это. Знаешь, бывают сны наяву. Нам надо с тобой переменить образ жизни и поменьше спать. А то доспимся до того, что будем путать, где мы находимся – во сне или наяву. И гимнастику надо по утрам делать, Вадимчик мой, гимнастику.

И они стали меньше спать и по утрам практиковали физкультуру. Нина даже настаивала, чтоб скорее оформить брак:

– У женатых меньше глюков, Вадимчик.

Вадим все-таки потребовал, чтоб вместе сходить на восьмой этаж: проверить.

Набрались решимости и пошли.

С трепетом Вадим вышел из лифта... За ним – Ниночка. Стены и углы психологически были пугающе пустынные – так почувствовал Вадим. Но их встретили обычные, неразговорчивые, правда, рабочие. Все было не так, как в тот раз. Тех – близко не было. Вовсю шел ремонт, и этаж действительно купил новый русский.

Вадим тревожно вглядывался в лица рабочих, думая: вот-вот обнаружу прежних. Один раз ему показался даже взгляд Саргуна, и он пробормотал это имя, но никто не среагировал.

– Ну, вот видишь, вот видишь! – верещала обрадованная Ниночка.

Когда уже собрались уходить, Вадим тупо спросил у пожилого рабочего:

– Что так медленно идет ремонт?

– У нас три человека за это время померло, – был ответ.

Вадим вздрогнул:

– От чего?

Пожилой рабочий рассердился:

– От чего, да отчего! Что вы суετε свой нос в чужую смерть, товарищ!

Но остолбеневший Вадим не обратил внимания на это забытое слово «товарищ». Когда вернулись в лифт, он с ужасом пробормотал:

– Уже трое, трое умерли!

Нина не поддержала его:

– Да от запоя скончались, наверное, Вадим! Никакой тайной тут не пахнет. Мы с тобой тоже умрем, какая ж в этом тайна?

У Вадима остался все-таки тревожно-нелепый осадок на душе, но бежать не решался. «Лучше спать, чем бежать», – упрямо думал он.

Сучков звонил, уговаривал, ругался – но все напрасно.

Между тем шли дни. Не так уж и много дней прошло. Как-то раз Ниночка не ночевала у Вадима: ее родитель приболел. Листов долго спал, но никаких снов не видел: одна пустота.

Утром вяло вышел на кухню – приготовить чай. И вдруг заорал нечеловеческим голосом. Что-то случилось с ним внутри. Это «что-то» было вторжением огромной, жуткой, чужой души, которая медленно входила в него, вытесняя его сознание. Он терял контроль над собственным телом, но, главное, исчезало, уходило куда-то его я...

...Через полчаса из квартиры Листова вышел человек, внешне похожий на него. Однако даже в этом «внешнем» было что-то не то. Но самое страшное – глаза, глаза были уже не Листова, их выражение, сам взгляд был до жути каменным и не походил на взгляд ни человека, ни животного...

Девочка-соседка, увидевшая «его» в коридоре, закричала дурным голосом. И через мгновения девочку охватило холодное чувство, что ей все снится и все приснилось: и этот мир, и ее собственное рождение, и спина этого уходящего человека, которого она знала под фамилией Листов. Человек этот спустился на восьмой этаж. Так же медленно вышел из лифта и пошел внутрь, в ту квартиру, которую когда-то посетил испустивший свой дух и оставивший свое тело в чужие руки Вадим Листов...

Из квартиры донеслось несколько странных звуков, в которых различимо было слово «Ромес».

Может быть, так звали этого человека, похожего на Листова. Через час он вышел оттуда и направился обратно, к себе, то есть в квартиру Вадима.

Там уже в недоумении сидела Ниночка: где, мол, Вадим?

Дверь медленно открылась, и он вошел.

Ниночка дико завизжала, как перепуганная рысь, не своим голосом.

Это был Вадим, и в то же время не Вадим. Движения, а главное, глаза – глаза были чудовищно другими. Это было иное существо, а не Вадим. Это «иное» подошло к упавшей на постель Ниночке. И, отсутствующе взглянув, почесало Ниночку за ушком.

Нина потеряла сознание.

...Вскоре «Ромес» вышел из квартиры. На улице люди, как всегда, спешили, но наиболее чуткие вздрагивали, приближаясь к нему... «Ромес» взял машину и ясно выговорил случайному водителю:

– Шереметьево-2.

Водитель думал только о деньгах и ничего не заметил. «Ромес» молчал, единственно – вынул из внутреннего кармана пиджака заграничный паспорт и как будто проверил его. В аэропорту мертвенно спокойно он прошел весь контроль. Направление его было: Южная Америка, Перу.

...Ниночка очнулась, когда в дверь настойчиво звонили.

Пугаясь стульев и любого шевеления, она открыла, так как услышала голос знакомого ей Сучкова.

Сучков вломился со старичком, тем самым блаженным и прозорливым.

Ниночку в полубморочном состоянии отправили на «скорой помощи» в больницу. Она только бормотала: «ушко... ушко... ушко!»

...Через час Сучков со старичком (вид у него был совсем непритязательный) сидели в уютном кафе в центре Москвы.

Блаженный старичок за кофе поучал Сучкова:

– Как же вы так промахнулись, Семен Палыч?.. Не ожидал я от вас этого...

Сучков краснел и потел.

– Да, проморгали вы, проморгали... А такое проморгать нельзя... Слава богу, этот «Ромес» укатил от нас, из Рассеи... В Перу...

– В Перу? – удивился Сучков.

Блаженный старичок так захохотал, что пролил кофе.

– Да вы что, Семен Палыч... Это по паспорту – в Перу.

– А на самом деле?

– А на самом деле после Перу окажется он в одной очень далекой стране... Стране счастливых каннибалов... Вот где! – старичок опять расхохотался. – Ни на какой географической карте вы такую страну не найдете... Но там он развернется, ох развернется, родной...

Сучков завял.

– Однако восьмой этаж мы почистим, – с доброй улыбкой заметил прозорливый старичок. – Это вполне в наших силах. Хотя будет трудно.

– А как же Вадим? – робко спросил Сучков. – Его душа, в смысле...

– Это уже не наша забота, Семен Палыч. Он умер, бестелесно так сказать. Но, надеюсь, ему повезет. А наше дело теперь – прогнать нечисть с восьмого этажа. О них, впрочем, «нечисть» сказать мало. Слишком крупные и сложные существа. Но я и не таких видывал, – добродушно закончил старичок.

## Великий человек

Городишко Мучево, что под Москвой, неуютен, грязен и до смешного криклив и весел. Правда, веселы там больше вороны и галки, которые, как черные, забрызганные мальчишки с крыльями, носятся по небу, как по двору.

Новые дома выглядят здесь абстрактно и гноятся людьми. Людишки в них – с разинутым ртом, ошалелые, шумные от новизны пахнувших краской квартир и от тесноты.

Старые дома, сбившиеся кучкой, поласковой, позагадочней и пахнут вековым деревом; народ в них – темный, осторожный, с ножом по карманам; ходит поодиночке, на цыпочках и матерится с оглядкой.

В этаком-то домишке, в отдельной комнате, в стороне от родителей, жил парень лет 19, Петя Гнойников, шахматист. Личико он имел аккуратное, в смысле скрывания своих дум, точно надвинутое на большие, но запрятанные где-то в глубине жадно-самодовольные глазки. Тело у него было в меру полное, а голос нервный, пороссячий, как будто его всегда резали.

Больше всего на свете Петя Гнойников любил свои мягкие, белые руки и игру в шахматы. Руками он брался за горячий стакан с крепким чаем и передвигал шахматные фигурки.

Учился он плохо, дома его тоже как-то преследовали, но Петя не огорчался, а обо всем имел собственное мнение, храня его затаясь.

Так же, затаясь, он еще с пятого класса стал часто играть в шахматы. Потихоньку играл, потихоньку.

И так случилось, что в этом маленьком городишке было не так много более или менее хороших шахматистов, а Петя Гнойников все выигрывал и выигрывал, сначала у одноклассников, потом и посерьезней.

Бывало, прибьют его где-нибудь во дворе за подлость или уколют тонкой иглой в живот, а он, тихо поскулив, запрется у себя в комнатке и, обслюнявившись до истомы, обыграет кого-нибудь в шахматишки. Потом ляжет и полежит на мягкой кровати, сложив руки на животике, отдыхая.

Играл Петя Гнойников аппетитно, мусоля шахматные фигурки, то поглядывая на противника въедливо-романтическими, удовлетворенными глазами, то застывая в покое, как наевшийся кот.

Постепенно в нем росло убеждение, что он великий человек. Часто, укрывшись с головой под одеялом, он долго ночами выл от сознания того, кто он такой. Успокоившись, протягивал из-под рваного одеяла худую, нежную ручку и закусывал это сознание ломтем колбасы.

Жизнь его между тем, по мере того как он вырос, становилась все тоскливей и тоскливей. Как бы окруженная пустотой. И только шахматы привязывали к себе.

Однажды, просматривая в журналах партии выдающихся шахматистов, ему пришла в голову мысль, как бы подставлять себя на место чемпионов и воображать, разыгрывая партии, что это он, а не они выигрывает эти партии. И что ему принадлежит вся слава и все внимание, доставшиеся в реальной жизни на их долю. С тех пор эта страсть стала его тайным, судорожным бытием, в которое он погружался и на радости в морозное, солнечное, обращенное к жизни утро, и в одинокий, безразличный день, и после побоев, и после серых сновидений.

На душонке становилось жутко, холодно, но постепенно могучие, неистребимые объятия мании величия охватывали его душу до конца. Гнойников занавешивал окна и упивался этим величием. Разговаривал с Капабланкой, Алехиным, Смысловым. Но все было в меру, без безуминки, без надрыва, только разве с тихо-одинокими взвизгами. Поговорит – и чайку попьет, книжку почитает, за мукой ходит. Эта мания величия необходимо дополняла сознание земных побед над местными шахматистами и делала его устойчивым и самодовлеющим. Чувство реальности свое он никогда не терял, а это было для него так – игра как игра... Почему бы и

не поиграть? Вернее, даже не игра, а утонченный разврат, иногда с истерикой, со слезами, с криками, но всегда с нелепо-самодовольным концом.

Но Алехин Алехиным, а сам Петя Гнойников хотел и надеялся, что он будет все-таки великим шахматистом, потом, не сразу; а игра в Алехина – это, так сказать, предвкушение будущего... А для настоящего Гнойникову были достаточны и эти жадные победы над мучевскими шахматистами, и это неопределенно-самодовлеющее сознание, даже без всякого конкретного заглядывания вперед...

...В 18 лет Гнойников впервые познал женщину, и у него почему-то было желание засунуть ей в глубину ферзя.

У женщин он не имел успеха.

Кроме женщин был у него еще Хорев, одноклассник, существо грязное, запуганное и жмущееся к темным углам. Он тоже был шахматист, но с мазохистским уклоном; хотя играл он неплохо, но больше любил проигрывать, чтобы услужить партнеру и всплакнуть потом о себе где-нибудь под столиком.

Гнойников держал его для «души увеселения» и по нелепому желанию лишней раз выигрывать партию в шахматы.

Часто, запершись у себя в комнате вместе с Хоревым, Гнойников, обыграв его раз семь, подолгу гулял с ним по комнате, пил чай, обмусоливал хоровские слова. Вид у Пети был серьезный, он поглаживал зад и отпускал Хорева под вечер, строго и с наущениями. Старушка-соседка, пугаясь серьезности его величия, запиралась на крючок. Это были самые счастливые дни в жизни Гнойникова.



Не менее странными были его отношения с семьей Сычевых, состоящей из старичка Никодима Васильевича и его двадцатилетней дочери Нади, – единственной семьей, с которой

общался Гнойников. Он приходил к ним пить чай, был взаимно влюблен, конечно, со своей стороны, по-своему, в Надю и подавлял всех своей манерой величия. Старичок Никодим Васильевич так прямо прыгал от него из комнаты в комнату. Особенно когда Гнойников, подвыпивши, кричал: «Я – великий... Циолковский... Величина... Едренить!».

Но Надюше этой манерой он внушал строгость и послушание. Она боялась и любила его, тихо молясь за Петю по ночам, пряча под подушкой непонятные шахматные фигурки.

Она занимала определенное место в его мечтах: он воображал ее около себя, а себя – с шахматной короной, где-нибудь в Рио-де-Жанейро.

Очень часто, когда он, запершись в комнате, играл с кем-нибудь, она тихо и бесшумно расставляла ему фигуры, вытирала пыль с доски. Разбирая партии, он не раз поглаживал ее простые, жирные бедра.

Старичок Никодим Васильевич считал его сумасшедшим, но находил, что лучшего мужа его дочери все равно не найти. Он приучился так ловко прыгать из стороны в сторону, когда Гнойников заговаривал о своем величии, что моментом исчезал в какое-нибудь пространство, и все к этому привыкли.

Впрочем, на чужих людях Гнойников так прямо не высказывался, а больше давил молчанием.

Странно, что это сознание величия, причиной которого был его успех в шахматах, сразу распространялось на всю реальность в целом, он считал себя великим человеком вообще и мысленно даже присваивал себе право давить людишек на улицах автомобилем. Успех в шахматах был лишь необходимым сдвигом, ведущим к раскрытию в его душе какого-то безудержного и абсолютного величия.

Но вот однажды в Мучево случилось событие. В городе должен был состояться 1-й этап обширного областного турнира. До этого Гнойников мало встречался с посторонними шахматистами.

В дождливый, полуденный день многие силы области съехались и приютились в потресканной мучевской гостинице. Мало кто из них думал о турнире: все были довольны лишним бездельем. Кто, укрывшись, читал романы, кто спал с бабами в шизофренически многолюдных углах, кто свистел песни. Но Гнойников потаенно и судорожно готовился к турниру.

Сделанный атеистом, пошел в церковь и, пугливо повизгивая, оборотясь, поставил свечи. Читал шахматные журналы, поглаживая ляжки. А Хорева почти не отпускал от себя. Лицо у Пети стало напряженное, серьезное и страховочно-многозначительное.

И отношения его с семьей Сычевых получились теперь совсем загадочные и таинственные. Сейчас, с приближением турнира, Гнойников и у Сычевых брал больше задумчивостью, да еще неопределенными высказываниями о судьбе. Тяжелый, дымящийся суп ел он сурово, заглядывая в журналы, и старичка Никодима Васильевича пугал серьезностью и расспросами о практическом ходе жизни. Надюша плакала со страху и чинила Гнойникову валенки на зиму.

Наконец наступил день открытия. Противником Гнойникова был здоровый, быкастый человек с холодными, насмешливыми глазами.

Гнойников так трясся от нежности к себе и от страха перед разрушением величия, что руки у него наглядно дрожали, когда он передвигал фигуры. Петя покраснел, съежился и влез в угол стула. Человечка-партнера это так заинтересовало, что он больше смотрел на Гнойникова, чем на шахматную доску. Иногда, в ходе игры, Гнойникову казалось, как озарение, что он выигрывает, причем часто это ощущение не вязалось с положением на доске. На душе становилось легко и величественно-воздушно. Но он медленно и неумолимо проигрывал. От этого мысли стали уходить в зад, который тяжелел от них. Под конец Гнойников не чувствовал в себе ничего, кроме увеличенного зада. Улыбаясь, он сдал партию. Партнер оставался холоден. Казалось, ему было все равно, выиграл он или нет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.